

[Polaris]

МИХАИЛ ГИРЕЛИ



ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПРОФЕССОРА
ЗВЕЗДОЧЕТОВА

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CXCI



Salamandra P.V.V.

**МИХАИЛ
ГИРЕЛИ**

**ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПРОФЕССОРА
ЗВЕЗДОЧЕТОВА**

Роман

Salamandra P.V.V.

Гирели (Пергамент) М. О.

Преступление профессора Звездочетова: Роман. Подг. текста и прим. В. Барсукова. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 128 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. СХСІ).

Поиски материальной основы «души», попытки пересадки сознания – в научно-фантастическом романе М. Гирели «Преступление профессора Звездочетова» (1926), сочетающем напряженный сюжет с философскими и эротическими мотивами, а также грубо-натуралистическими описаниями.

**ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПРОФЕССОРА
ЗВЕЗДОЧЕТОВА**

ОТ АВТОРА

Предлагаемый роман принадлежит к числу так называемых научно-фантастических романов, где главным действующим лицом являются не люди, а события научного характера, научные открытия, теории и т. д.

Но так как подобного рода произведения — суть все же романы, то они и обрамляются фантастикой, не переходящей, однако, за границы дозволенного. Западно-европейская литература очень богата подобного рода произведениями (Уэльс, Жюль Верн, Стивенсон, Хаггард, Леблан и др.).

Наша литература, наоборот, ими крайне бедна. Однако такого рода романы ценны уже потому, что знакомят публику, в самом доступном и популярном виде, со многими научными вопросами, уже разрешенными или долженствующими быть разрешенными в будущем.

Эта мысль, как нельзя лучше, иллюстрируется моим романом.

Выйди моя книга в свет два года тому назад (т. е. тогда, когда она была написана), аппарат, изобретенный профессором Звездочетовым, мог показаться бы чудовищно-фантастическим, тогда как в настоящее время ничего «чудовищного» в нем уже нет, благодаря последним работам нашего академика профессора Лазарева, — сконструировавшего аппарат, регистрирующий мысли человека.

Все же я должен предостеречь читателя от некоторых неправильных выводов, которые он, паче чаяния, может сделать, прочтя мой роман поверхностно и небрежно.

Роман мой, как бы фантастичен он не казался, прежде всего строго материалистичен и научен.

Мы не можем выкинуть из нашего обихода некоторые слова, как, например, слово «душа», но мы можем и должны придать этим словам, на основании науки, новое значение и смысл.

И если и в моем романе встречается слово «душа», то не потому, что душа существует, а именно потому, что этому слову мною придается новое значение, чисто материалистического характера. Впрочем, читатель убедится в этом сам.

В области философии я также не выходил за рамки последних научных достижений, главным образом естественного характера — Эйнштейна, английских физиков и наших русских естественников. Если мой роман будет прочитан не только как роман, но и заинтересует читателя последними достижениями в области естественных наук и заставит его познакомиться с материализмом в широком смысле этого слова, то я сочту свою задачу выполненной, а книгу свою — принесшей читателю пользу.

Автор.

ЧАСТЬ I

I

Профессор Звездочетов глубоко задумался.

Рассеяннo и не зная, зачем он это делает, он снова наложил снятую им было уже хлороформенную маску на лицо только что оперированной им больной — уже забинтованной и убранный и начавшей понемногу просыпаться от наркоза.

Ему показалось, что он сам просыпается после тяжелого искусственного сна.

Больная лежала на покрытом гладкой эмалью операционном столе, на котором все слилось в один цвет — белый.

Белизна простыни переходила непосредственно в белизну стола, а белизна стола безо всякой резкой границы, переходя через белизну резиновой подушки, оканчивалась еще более безупречной белизной молодого женского лица.

Черных волос больной не было видно, ибо они были тщательно убраны в охватившую всю голову и даже верхушки ушей белоснежную косынку.

Только узкие голубые вены, матовой синевой просвечиваясь сквозь тонкую бескровную кожу, змеились злоеще и неестественно по еще бесчувственному и мертвому лицу.

Как только маска закрыла собою нос и рот больной, белизна лица оперированной внезапно усилилась снова и голубые вены ярче обозначили свои извилины.

Старший ассистент Звездочетова, доктор Панов, осторожно дотронулся до руки своего учителя:

— Николай Иванович! зачем вы снова надели маску? Операция окончена, и вы приказали принести кислород...

Звездочетов вздрогнул. Сквозь начинавшую морщиться кожу его лица проступил едва заметный румянец не то стыда за свою рассеянность, не то с трудом сдерживаемого гнева и раздражения.

Резко сорвав маску с лица больной, сразу задышавшей ровнее и глубже, он бросил ее на рядом стоявший столик, где в беспорядке валялись блестящие и холодные, запачканные густой, липкой, уже потемневшей и свернувшейся кровью инструменты, строго посмотрел сквозь взлохмаченные и сдвинутые брови на стоявшую рядом безмолвную, бесстрастную и холодную, как изваяние, сестру и, резко повернувшись на каблуках, слегка подергивая углами тонких губ, вышел из операционной.

II

Сегодня с ним это случилось во второй раз...

На прошлой неделе, сосредоточенно наблюдая за игрою лицевых мышц захлороформированного больного, он так хорошо наложил повязку, что она тотчас же и сползла, причем Панов обнаружил настолько мало такта, что в его присутствии приказал сестре перебинтовать оперированного.

Но кто же был виноват в этом?

Вот уже целый месяц, как длится это состояние.

Он бродит по этим бесконечным палатам, наполненным живыми трупами, сам словно оживший труп, входит в эту ослепительно белую операционную, насквозь пропитанную сладким, легкую тошноту и головокружение вызывающим запахом хлороформа и эфира, мучительно пристально вглядывается в лица усыпленных больных, сам словно находясь под таинственной властью наркотики.

Никаких интересов не проявляя больше ни к технике операции, ни к исключительности случая, ни к ходу болезни, он только жадно и настойчиво следит за выражением лиц вдохнувших в себя убийственную силу хлороформа больных.

Только лицо интересует его.

Бледное, подергивающееся, искаженное, отражающее что-то, чего реально не существует. Сны.

Как это началось? С чего?

Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю!

Звездочетов сидит у себя в кабинете и, не сняв халата, тяжело опустившись в кресло перед письменным столом, сжимает и трет свой высокий, покатый лоб тонкими, длинными, нервными пальцами.

«Тут что-то есть... что-то есть», — мучительно искривляется линия рта в жуткую извилину тяжелого воспоминания, но вспомнить Звездочетов не может.

Не может.

Рассеянно бегают взгляды по расставленным в беспорядке банкам с притертыми стеклянными пробками, наполненными спиртом и формалином, в которых плавают лило-ватые-серые куски человеческого мяса, миомы, липомы, саркомы, а из самой ближней банки, сквозь флюоресцирующий слой жидкости и толстые стеклянные покровы, искажаясь и оживая, улыбается Звездочетову одним-единственным, громадным глазом на гигантской голове, покоящейся на тоненькой шейке и неразвитом туловище, перепоясанный оборванной пуповиной пятимесячный плод, извлеченный им из фаллопиевой трубы одной из своих бесконечных пациенток.

«Это нервы, — думает профессор. — Это нервы и явное переутомление. Пятнадцать операций в день и пол-ночи — прием у себя на дому. Надо просто отдохнуть». А белесый глаз не познавшего тайны жизни заспиртованного плода лукаво шурится и подмигивает:

«Врешь, Николай Иванович! Это все не то, не то, не то!»

— Так что же это? — с силой ударяет кулаком по столу Звездочетов так, что звенят банки, а лукавый плод важно всплывает кверху.

Профессор вздрагивает от им же произведенного шума, — встает, снимает халат, вешает его на один из гвоздей у двери, машинальным жестом поправляет галстук и, сняв белую хлопину ваты с рукава, выходит из кабинета.

У дверей дежурит, ожидая этого выхода, старшая сестра с целой кипой бумаг в руках, — скучных историй болезней и счетов, приготовленных на подпись профессору, и поднимает на него свои спокойные, холодные глаза.

Эти глаза, когда встречаются с глазами профессора, в бездонной глубине своей, так, что это почти и незаметно даже, загораются каким-то несвойственным им огнем не то любовного восторга, не то рабского поклонения.

Звездочетов морщится.

— Я, Софья Николаевна, обхода сегодня делать не буду. Пусть Панов это сделает за меня. Я уезжаю.

Глаза сестры гаснут, оставаясь по-прежнему спокойными и холодными.

— Слушаюсь.

Профессор проходит мимо. Ему приходится идти по длинному коридору. Навстречу ему несут на громадных подносах высокие эмалированные миски с дымящимся супом для больных.

Час обеда.

Машинально, по многолетней привычке, он останавливает одну из сиделок и пробует всегда пахнущей оловом и грязным полотенцем ложкой пищу.

Чуть-чуть. Глоточек.

— Раздавайте, — говорит он, а сам думает: — «Как можно есть эту гадость? Карболовая кислота, сдобренная казновым маслом...»

Через стеклянные двери палат он видит больных, тощих и серых, скучных стариков и старух, преждевременно состарившихся молодых женщин и девушек и вялых, апатичных, тоскующих детей.

Все в одинаковых халатах, все безличны, безымянны, все мертвы и отличаются друг от друга только латинскими надписями, написанными вместо фамилий над изголовьями неуютных кроватей:

«Paralysis progressiva» «Dementia praecox», «Lues cerebri»...

«Nomina sunt odiosa», — почему-то вспоминает Звездочетов и торопится к выходу.

III

Доктор Панов давно уже заметил резкую и необъяснимую перемену своего учителя.

«Дальше так не должно и не может продолжаться», — думал он, тщательно намыливая в перевязочной свои белые, пухлые руки большим куском желтого, вонючего мыла, пропитанного каким-то дезинфицирующим началом.

«Вчера повязка, за которую начинающую сестру в сиделки перевести нужно, сегодня маска с хлороформом вместо кислорода, а завтра, чего доброго, профессор проведет своим ножом страшную черту по совершенно здоровому органу...»

Панов принадлежал к числу людей простых, не мудрствующих лукаво, не задающихся неразрешимыми вопросами, а просто и естественно, с достаточным научным основанием принимающих жизнь таковою, какова она есть.

Философия была ему совершенно чужда и даже своих ученых коллег, невропатологов и психиатров, рискнувших за последнее время отказаться от субъективного метода невропатологии и дерзнувших пойти по скользкому пути объективной психологии и анализа, он чуждался и недолюбливал.

— Это не наука — помилуйте, — говорил он. — Познание свойств мира, когда свойства самого субъекта совершенно непознаваемы. Это опасный уклон, неминуемо ведущий к эмпиризму, в лучшем случае, и обыкновенно прямо к шарлатанству. Не ученые, а какие-то бродячие гипнотизеры, гастролирующие факиры и жрецы черной магии...

В комнату вошла старшая сестра.

— Вот, доктор, — сказала она своим унылым, покорным и бесстрастным голосом, протягивая Панову папку с бумагами, — профессор снова отказался делать обход и заняться бумагами. Это предстоит сделать вам.

В десятый раз снимая густую, пузырчатую пену со своих красивых рук, Панов нахмурил брови и, подставляя руки под горячую струю воды, спросил:

— Николай Иванович уже ушел?

— Да.

— Он не говорил, когда приготовить Андрееву к операции?

— Нет.

Панов неизвестно на кого рассердился.

— Вы знаете, Софья Николаевна, дисциплина, конечно, превосходная вещь, и я сам поставил бы на должное место всякого, кто осмелился бы нарушить ее, но... однако... всему есть границы, понятно. Ваши «да» и «нет» могут вывести иногда из терпения. Мы сейчас не у постели больного, время как бы не служебное, так сказать, я мою руки. Вы... одним словом, меня удивляет ваша холодность и безразличие ко всему.

Панов снял полотенце и стал вытирать руки.

Софья Николаевна немного виновато посмотрела на его дымившиеся от горячей воды руки, подумала, что такие руки одинаково сильно способны были бы как приласкать, так и ударить и, слегка передернув плечами, ответила:

— Мне просто — скучно.

— Я не совсем понимаю вас, — удивленно поднял Панов на нее свои нахмуренные брови.

— И, однако, понимать тут особенно нечего. Я отупела здесь у вас окончательно. Я потеряла себя. Здесь нет людей. Здесь трупы.

— Да что вы все, и впрямь рехнулись, — сердито закричал на нее Панов. — Я имел в виду поговорить с вами насчет одного обстоятельства, даже совета вашего хотел спросить, но, к сожалению, вижу, что вы сами нуждаетесь в них...

— Вы, может быть, сердитесь на меня за вчерашнее, — с едва уловимой иронией тихо спросила Софья Николаевна. — Забудем это.

Панов покраснел.

Вчера, после вечернего обхода, он вошел в комнату Софьи Николаевны и попросил напоить себя чаем. Софья Николаевна каким-то странным инстинктом сразу поняла причину его посещения, приготовила чай и долго слушала,

как он неестественно и неумело врал, уверяя, что наелся где-то соленых грибов и сейчас ему смертельно хочется пить и, наконец, кончил тем, чем должен был кончить, грубо и неуклюже обнял ее и, давя ее грудь своими руками, трясущимися пальцами расстегивая бесчисленные кнопки ее платья, говорил страстным и театрально-сдавленным шепотом:

— О, не отталкивайте меня, поверьте, я уже давно, давно люблю вас... вы должны быть моей.

Софья Николаевна не сопротивлялась, наоборот, чтобы он не разорвал ей платья, она даже помогла ему расстегнуть один особенно упрямый крючок, но ей было смешно и противно.

Ее тошнило от этой шаблонщины и той удивительной одинаковости, с которой все перебивавшие в клинике молодые ассистенты и даже студенты выпускных курсов приходили к ней, дрожащими руками сжимали ее груди, требовали любви и брали ее тело. Но она не сопротивлялась никому, отдаваясь им всем ради какой-то ей одной известной цели, оставаясь холодной и безразличной к их грубым ласкам.

Их она никогда не могла понять.

Как могли они, эти люди, находить еще прелести в женском нагом теле, когда каждый день, каждый час им приходилось видеть сотни обнаженных тел, покрытых экземами, прыщами, болячками, язвами, всегда так отвратительно пахнущих человечиною и специфическим острым женским потом, когда каждый миг жизнь открывала им их слепые глаза на свое вечное безобразие и уродство.

Неужели это так сильно в человеке?

Ее цель была — другая.

И она достигала ее каждый раз, когда ее брал мужчина, испытывая почти садическое наслаждение, но не тела, а своей души...

И, отдаваясь Панову, грубо повалившему ее на диван, безо всякого сладострастия, как отдавалась уже десятки раз всем этим господам, искавшим в науке Истины, а в женщи-

не Смысла, она преследовала ту же свою затаенную цель и снова с восторгом достигала ее.

Она видала над собою другие глаза, те, что, встречаясь с нею, зажигали в глубине ее сознания чувство не то любовного восторга, не то рабского поклонения.

Она чувствовала вокруг своего тела иные руки, с длинными, тонкими и нервными пальцами.

Какое это было наслаждение...

Софья Николаевна поднялась с дивана только тогда, когда объятия любовника ослабели, глаза его стали глупыми и стеклянными, вытерла носовым платком свое лицо, влажное от чересчур слюнявого рта Панова, привычным движением поправила волосы и вышла из комнаты.

До самого утра она просидела у кровати тяжело больного, хрипевшего и упрямо не желавшего развязаться с обожаемой жизнью, уставив глаза в одну точку и оживляя ее смутными воспоминаниями.

Панов ушел из клиники, не заходя в палаты и не простившись с нею.

Он был слегка сконфужен, он даже недоумевал, как это все просто и скоро случилось, он готовился к борьбе, сопротивлению, может быть, даже пощечине...

«Вот, пойми женщину», — мысленно разводил он руками, но долго не задумывался над этим.

Чувство самца было в нем удовлетворено и он, принимавший жизнь таковою, какова она есть, еще не успев дойти до дома, успокоился и настолько пришел в себя, что утром, встретившись с Софьей Николаевной в палате, не только не смутился, но даже просто забыл, что вчера произошло между ними. И странно: не он один так быстро забыл свою связь с этой женщиной.

Все ее любовники уже на другой день не помнили своей любовницы и продолжали обходиться с нею так, как обходились до связи.

Может быть, бесстрашие Софьи Николаевны производило это действие или то, что все они, сколько их ни было, совершенно не существовали для нее как таковые и явля-

лись только простыми средствами к достижению ей одной ведомой цели?

Вот и сейчас Панов живо припомнил сцену в комнате сестры, свою плохо замаскированную кровать, крепкую, круглую грудь молодой женщины, выбившуюся из-под кофточки, высоко обнаженную под поднятой юбкой розовую ногу, стянутую выше колена глубоко врезавшейся в упругое тело круглой подвязкой и свою неловкую и смешную позу, когда он склонился над ней... но никакого чувства Панов к этой женщине не испытывал уже — ни стыда, ни нового желания...

В ответ на ее вопрос он дружески взял ее за руку и сказал:

— За вчерашнее не я, а вы должны сердиться... Впрочем, что было, того не вернешь. Забудем это. В настоящее время я действительно имел в виду просить вашей помощи в одном деле.

Возвращаясь к своему хроническому спокойствию и бесстрастности, Софья Николаевна ответила:

— Слушаюсь.

— Погодите, — предупредил Панов. — Одно условие только. Бросьте ваш тон подчиненной. Дело серьезное и щекотливое. Поймите, что с подчиненной я не стал бы говорить о нем. Я обращаюсь к вам, как к другу, помощнику и человеку. Разговор будет о Николае Ивановиче...

Софья Николаевна слегка подняла опущенные глаза.

— Профессоре?..

— Да. Пройдем в кабинет, я подпишу вам бумаги, а потом поговорим. Уверяю вас, мне не с кем больше посоветоваться.

IV

Панов, не глядя, подписал последний счет, обеими руками отодвинул вглубь стола образовавшуюся гору бумаг и, повернувшись к Софье Николаевне, мягко сказал:

— Ну вот, голубчик. Все. Теперь садитесь вот сюда, поближе, и постарайтесь меня понять. Почему я советуюсь с вами? Это ясно. С кем мне советоваться? Мои коллеги по больнице в отпуску и, если правду сказать, я очень рад этому. Это чересчур умный народ. Они очень легко выносят сор из избы. Сейчас же они подняли бы шум и сумятицу со своей психологией, субъективизмом, теорией относительности и прочей галиматьей. А дело скромное. Щекотливое. Его надо замять, не дать возможности разгореться... Интересы нашей клиники, я полагаю, вам дороги так же, как и мне, интересы клиники и... доброе имя профессора Звездочетова.

Я чувствую в вас сильного и здорового душой человека. Профессор болен... это настолько ясно, что останавливаться над этим не приходится. Его временно надо отстранить от ведения дела, ибо его рассеянность начинает становиться не безразличной для жизни вверенных ему больных.

Я слишком ценю своего учителя, чтобы допустить его имя влести в какой-нибудь скандал. Для меня ясно, что Николай Иванович, не по силам работающий уже больше года — надорвался.

Ему необходим отдых.

Однако, его настойчивость вам известна. Ее-то нам и надлежит сломить.

Во что бы то ни стало надо посоветовать ему бросить всякую работу и хорошенько отдохнуть. Иначе я не отвечаю за него. Я вам это говорю, как его товарищ, ученик и врач.

— Но что же могу я сделать? — спросила Софья Николаевна.

— Многое! Вы должны помочь мне. Профессор очень ценит вас, как работника и человека. Я это знаю. Вот почему я и обращаюсь именно к вам. Вашей безупречной вы-

держкой и спокойствием вы можете оказать, не предполагая даже, огромное влияние на его развинченный во всех своих нервных основах организм. Я его буду обрабатывать, я подготовлю почву дома, переговорив с его женой, а вы будете методически, оказывая на него давление в желаемом смысле, направлять его желания к определенной цели — отдыху! Поняли? Согласны?

Софья Николаевна вздохнула и задумалась.

Она видела перед собой вспухшую, синюю конечность одного упрямого старика, покрытую язвами и зловонную.

Это была гангрена.

Но упрямый старик так бешено боялся распротиться не только с жизнью, прожитой в нищете и пьянстве, но даже с кусочком своего старого, заживо разлагавшегося, большого тела, что не соглашался на операцию.

Так называемая демаркационная линия, т. е. линия, отделявшая больную конечность от еще живой ткани, ползла все выше и выше, а гангрена захватывала все новые и новые участки еще здоровых тканей. Вся прожитая жизнь показалась вдруг Софье Николаевне распространяющей дурной запах, гангренирующей частью ее самой, охватывавшей каждый день все новые и новые возможности будущих дней ее жизни.

А она, как упрямый старик, цеплялась за эту проклятую жизнь и строила ценности для будущего на основании опыта от гангренирующего прошлого.

В двадцать восемь лет ей стала противна ее скучная, пропитанная запахом лекарств, одинокая жизнь, без любви, без необходимых для выявления высшего духа, чисто мещанских радостей, хотя вокруг было достаточно и морфия, и мышьяка, и кокаина — выбирай только — она продолжала покорно ждать чего-то от будущего, инстинктивно веруя, что и она будет когда-нибудь призвана к делу и ей объяснят ее значение, как участницы в общей жизни.

«Вот... приближается... — думала она. — Теперь или никогда». Момент подходящий и он сам идет к ней навстречу. Им надо воспользоваться. Больше молчать она не может.

Аналогичные переживания она давно угадывала в профессоре Звездочетове, конечно, только в большем, может быть, космическом даже масштабе гениального ученого и мыслителя, и они были ей так близки, так любовно понятны...

«Теперь или никогда... теперь или никогда!»

Какая безумно-огромная мысль должна была родиться в недрах исполинского мозга профессора, если даже она, маленькая Софья Николаевна, способна была увидеть, как властно и неудержимо эта мысль вырывалась наружу в каждом движении ученого за последний месяц?

Николай Иванович переутомился... О, жалкий пигмей, как может переутомиться творческая сила природы?! Как это ты не видишь, господин доктор Панов, что не в переутомлении здесь дело!

Ей давно стало понятным все.

Замкнутый в себе, всегда напряженно ищущий чего-то не в формах, а в причинах, породивших их, человек огромных возможностей и поражающей смелости, в духовном одиночестве влачащий за собою весь ужас несознаваемой человеческой мысли, он, профессор Звездочетов, просто что-то понял за последнее время, какую-то тяжелую мысль осветил пламенем анализа и, прекращая трагические колебания, отчаянно и страстно, дерзко и вдохновенно, решил проникнуть в тайны чего-то.

Она это угадывала. Она это осязала почти.

«Теперь или никогда, теперь или...»

— Однако я дал вам, Софья Николаевна, достаточно времени, чтобы обдумать ответ, — решил, наконец, Панов прервать царившее молчание.

И тогда Софья Николаевна решилась: «Теперь». Ее внезапно осенила какая-то смелая мысль, она резко поднялась с кресла, нервно переставила на другое место банку с одноклазым зародышем и, вдруг кому-то улыбнувшись, вздохнула полной грудью.

— Хорошо, — сказала она. — Я думаю, мне удастся помочь вам в вашем деле, доктор.

Профессор Звездочетов велел следовать своему кучеру за собой, а сам медленными, усталыми шагами двинулся пешком по направлению к дому.

Ему казалось, что в движении он лучше сосредоточит свои мысли и скорее придет к какому-нибудь окончательному решению.

«Теперь я в этом уже почти не сомневаюсь» — шевелились его тонкие, бескровные, немного злые губы, в то время как нахмуренные глаза с напряженным вниманием следили за выступавшим при каждом полном шаге из-под полы пальто кончике правого сапога.

«Сегодняшний наркоз, чуть-чуть не закончившийся трагично (Звездочетов горько улыбнулся) рассеял, как дым, мои последние сомнения. Теперь мне все это ясно. Теперь я на дороге, окончание которой не страшная бездна западни, а стройная система познания нового мира. “Я вижу новую землю и новое небо”. Однако дорога эта — дорога слез и труда, тяжелый путь опытов, мучительных и рискованных и, как водится, не всегда удачных... Что ж. Чем хуже, тем лучше в конце концов, и глупо поворачивать оглобли назад тогда, когда после сорокавосемилетних поисков дороги, среди болот и дремучих лесов, наконец выезжаешь на ровный путь, в существование которого перестал даже и верить уже! Теперь уже поздно, конечно!»

И вдруг Звездочетову стало по-настоящему страшно, когда он сообразил, каким в сущности простым путем он подошел, если еще не вплотную, то по крайней мере на расстояние волнующей близости к новой, как для него, так и для всего грядущего человечества — Истине.

«Однако, как удивительно проста истина, — со страхом подумал он. — Какой долгий путь прошел человек в своем существовании, ни на минуту не прекращая упрямых поисков истины, которая, как тень, всегда следовала за ним. А стоило ему лишь остановиться — как он умирал. Уже таково свойство его реальной материи — быть в постоянном

движении. Однако, познав смерть, человек снова ничто — элемент и неосознанная им истина умирает для него вместе с ним, продолжая реально существовать для других. Увы! Истина в объективе, а в субъективе только отражение ее. И — как глупо искал до сих пор человек этой истины, полагая найти ее в какой-то несуществующей, нереальной, смешной и глупой “душе”. Какой мошенник, какой авантюрист внушил ему эту жалкую мысль? Жалкую и вместе с тем страшную, ибо не она ли калечила человека и делала из него трусливого, затравленного зверя, тогда как назначение его быть могущественным вершителем мировых судеб?!

Ах — как это ясно мне — стоит только человеку понять раз и навсегда, что он только материя, как спадут с его рук и ног оковы каторжника и он, освободившись от представления о существовании несуществующей души, станет свободным и счастливым. Каким дурманом окутано человечество еще! Однако — я дурман этот развею. Я докажу ему, что никакой “души” у него нет и быть не может, что истина сокрыта не здесь. Как это ясно мне, как ясно. Просто тот симпто-то-комплекс явлений, что принято называть в общежитии этим — ничего не выражающим — словом “душа”, есть не что иное, как физиологически отделяемая от всего остального организма некая величина, сама по себе механически цельная и самостоятельная, появляющаяся во всяком биологическом организме как результат, создаваемый электромагнитными напряжениями живой протоплазмы и разумной комбинацией ее в клетках. Просто электромагнитные поля известного напряжения и реальной силы. Эту “душу” очень легко, при надлежащей постановке опыта и соответствующей предосторожности, изъять из любой живой материи, цветка, животного и человека, не лишая их — их материальных качеств и жизненных, биологических функций. С таким же успехом можно эти электромагнитные поля, т. е. так называемые “души”, переносить из одной материи в другую, не нарушая динамичности жизненных функций этих материй, выражающихся в виде дыхания, кровообращения, питания, размножения и воспринима-

ния всех родов механического раздражения, т. е. рефлексий».

Звездочетов остановился, чтобы перевести дыхание.

«Ребенок рождается еще без этой самой “души”, ибо он и мать представляли собою во все время утробной жизни младенца один-единственный, связанный друг с другом организм.

Но, с момента самостоятельной жизни, нервный тонус клеточной протоплазмы начинает создавать уже свои обособленные электромагнитные поля, которые, по мере роста клеток и их окончательного развития, группируясь воедино, создают ему его “душу”, иначе говоря, его волевое восприятие внешнего мира. И понятно, что, так как материя передает материи свои наследственные качества, т. е. определенную группировку химических соединений, то и “души” детей похожи на “души” родителей, ибо создающие их комбинации элементов похожи друг на друга. Весь вопрос заключается теперь только в том, чтобы изучить, по каким путям передают клетки это электромагнитное напряжение свое, дабы иметь возможность, не нарушая физиологической целостности организма, выдвинуть из него эту самую его таинственную “душу”.

Когда человек умирает, “душа” умирает вместе с ним.

Просто выключается поле электромагнитного напряжения вследствие смерти живой протоплазмы, создающей его».

Профессор продолжал думать, шагая и не оглядываясь по сторонам. Мимо него проходили прохожие, на углу толстая баба, торговавшая яблоками, сочно плевала на румяные плоды, быстро вытирая их вслед за этим поднятым подолом своей юбки, и отполированные таким образом ярко блестящие яблоки откладывала любовно в сторону, строя из них красивую пирамиду, из которой она продавала свои плоды дороже еще неочищенных.

Кто-то больно толкнул профессора в плечо и прошел дальше. Извозчик напротив, подойдя к задним ногам своей лошади и задрав кверху свой старый армяк, мочился пря-

мо на мостовую, а потом долго приседал на корточки, распрямляя затекшие члены.

Маляр, сидя в зыбкой качели на высоте пятого этажа, положил в сторону жирную кисть и, старательно закрывая ладонью руки мигающий огонек спички, раскуривал только что свернутую папироску.

Какая-то накрашенная дама с целой маленькой городской площадью на голове вместо шляпы, в центре которой стоял довольно солидный памятник, а по краям расположились, чередуясь друг с другом, пестрые уголки ботанического и зоологического садов, приветливо кивнула головою профессору, причем все сооружения ее удивительной шляпы пришли в такое веселое настроение, что замечались кто куда горазд, в разные стороны, заставив проходившего старичка неодобрительно покачать головою.

Молоденькая барышня споткнулась о выступавшую плитку тротуара перед самым носом профессора и уронила к его ногам свой портфельчик, из которого не замедлили высыпаться ноты.

«Requiem» Моцарта и «Колыбельная песня» Чайковского. Профессор хотел помочь нагнувшейся барышне поднять ее ноты, но в это время из соседних ворот выскочил черный стриженный пудель и, пробегая мимо, направляясь к одному ему ведомой цели, наступил своей левой задней лапой на «Requiem» и оставил на нем характерный отпечаток четырехподушчатой песьей лапки.

Барышня сказала тоненьким голоском: «брусь», желая, очевидно, сказать «брысь», перепутывая от огорчения и неожиданности гласные, и профессор Звездочетов прошел мимо,

Жизнь шла своим чередом, нормальная, строго-омещанная, ритмически-размеренная и простая, простая до головокружительной сложности жизнь. Звездочетов улыбнулся.

«И это все — один только я», — подумал он.

VI

Открывшей Звездочетову двери горничной, с нескрываемым изумлением уставившейся на него, до того возвращение его домой в этот час было редкостью, событием из ряда вон выходящим, он коротко и сухо, как бы чего-то стыдясь, сказал:

— Я обедаю дома. Попросите Ольгу Модестовну ко мне в кабинет.

Не давая горничной снятого пальто, профессор повесил его собственноручно на вешалку, как бы желая подчеркнуть этим, что он совершенно здоров и ни в чьих услугах не нуждается.

Аккуратно сложил снятое с шеи кашне и долго царапал носком левого сапога по заднику правого, пытаясь снять отсутствовавшие галоши.

Горничная удивленно вздохнула и вышла из передней.

Профессор слегка сжал челюсти, обрисовывая на лице сухие полушария жевательных мышц, прошел из передней в гостиную, а из гостиной вошел к себе в кабинет.

Здесь все было по-прежнему.

Большой письменный стол был уставлен дорогим чернильным прибором из слоновой кости, слева на нем лежал ослепительно белый череп со спиленными теменными костями и, как всегда, жаловался выдающимися челюстями на лихорадку, громадный турецкий диван по-прежнему стоял вдоль почти всей задней стены и приглашал отдохнуть, небольшой стеклянный шкаф с хирургическими инструментами подчеркивал занятия своего хозяина, а мраморный умывальник с белоснежными полотенцами по бокам настолько привычно и буднично приветствовал вошедшего, что Звездочетов, очутившись у себя в комнате, сразу как будто успокоился немного.

Он не успел снять еще своего сюртука, чтобы переодеться в мягкую домашнюю куртку, как по ковру гостиной послышались мягкие шаги, несколько торопливые и

старавшиеся быть естественнее, приближавшейся женщины.

«Она лжет даже своими шагами», — подумал Звездочетов и неприязненно провел согнутой ладонью левой руки по лицу, начав со лба и кончая нижней губой, которую он защемили на мгновение, вытягивая ее вперед между указательным и большим пальцами.

Дверь открылась. Робко, осторожно, почти неуверенно. В комнату вошла Ольга Модестовна.

— Я надеюсь, ты...

— Здоров...

— Как же тебе удалось освободиться так рано?

— Вот, что, Оля, будь добра, мой друг, не докучай мне расспросами о моем здоровье. Ты знаешь, я не люблю этого. В передней лежит мой блокнот с указанием фамилий и адресов больных, которых я должен был навестить сегодня. Их немного: человек десять, двенадцать. Позвони, пожалуйста, им всем по телефону и сообщи, что я занят и сегодня быть у них не могу. Если они спешно нуждаются в помощи, дай телефон Панова, пусть от моего имени обратятся к нему. Это надо сделать как можно скорее, — мягко закончил он, видя, что Ольга Модестовна колеблется и не собирается уходить.

— Однако, Коля, прости меня, ты не обманываешь...

— Я сказал уже раз, мой друг, — нахмурил брови Звездочетов, — я здоров. Не заставляй меня повторяться.

Ольга Модестовна вздохнула и вышла.

Профессор посмотрел ей вслед, скользнул глазами по ее спине и вдруг какая-то сила, определить которую было бы невозможно, нечто среднее между похотью и ненавистью, во всяком случае, сила чисто животного характера, родившись в недрах его организма, отразилась в его тусклых глазах, когда они скользили по этой удалявшейся спине, полным, круглым плечам, тонкой линии талии, слегка колыхавшемуся при движении крепкому задку и необычайно сильным и упругим бедрам молодой женщины.

Ольга Модестовна была моложе своего мужа на двадцать лет, и профессору Звездочетову все пять лет его брач-

ной жизни с нею казалось, что в ее отношениях к нему скрывается что-то недоговоренное. Чувство это усиливалось еще тем обстоятельством, что Звездочетов никогда не мог дать себе положительного ответа на вопрос: «Что заставило молодую женщину выйти за него, уже немолодого человека, замуж? Неужели любовь?» Он был слишком осторожен, чтобы думать так. Тогда что — расчет, тщеславие? Она была безусловно красива, правда, не строгой красотой античности, а чисто жизненной красотой — красотой красочной, чувственной, даже слегка грубой, красотой здоровой молодой самки, так властно притягивающей всегда мужчин к себе; она была всегда окружена этими мужчинами, она никогда не нуждалась в средствах в доме своих родителей, и вот эта женщина сразу и безоговорочно согласилась на предложение профессора, сделавшего его уже на третий месяц их знакомства и пренебрегшего всеми трафаретами любовного романа, столь ценимыми женщинами, а просто, как говорили посторонние: «ни с того, ни с сего» предложившего ей соединить свой расцвет с его зрелостью.

А что же заставило его, Звездочетова, сделать это предложение? Конечно — любовь. Так, по крайней мере, хотел думать сам Николай Иванович, вдруг, в одно прекрасное утро проснувшийся и властно захотевший иметь рядом с собой сильную, здоровую самку с лицом, бедрами и грудью Ольги Модестовны.

В этом одном желании и был заключен весь его роман.

Однако женщин вообще Звездочетов не любил, сторонился и ему всегда казалась психология всех женщин одинаковой и неприятной и, главное, лживой — психологией хамелеона, приноравливающегося к окраске окружающей природы для того, чтобы легче и безнаказаннее ловить себе добычу.

Вот и к жене своей, в особенности тогда, когда он чересчур явно обнаруживал ее чисто женские прелести, он начинал испытывать это злое чувство — порождение похотливости, может быть, даже ревности и почти бешеной ненависти.

«Прожить с человеком пять лет, что пять лет, всю жизнь можно прожить с женщиной и все-таки не знать ее», — думал он раздраженно в такие минуты.

Однако Ольга Модестовна была женою безупречной и никаких поводов к ревности подать не могла.

Став женою профессора, она сразу же закрыла двери своего дома для своих бывших поклонников, также и чу-тьем угадывая, что их присутствие могло быть неприятно мужу и вообще непристойно даже...

Все прожитые пять лет в доме своего мужа она провела, почти нигде не показываясь и не появляясь, стараясь лишь предоставить профессору тот максимум физических удовольствий, какой только может предоставить молодая, красивая женщина, оставаясь в пределах здоровой половой психики.

И тем не менее...

Когда звуки шагов Ольги Модестовны замерли, профессор осторожно подошел к дверям и тихо повернул ключ в замочной скважине.

Он знал, что адресов было записано не десять, а добрых двадцать, что раньше, чем через час-полтора, Ольга Модестовна не справится со своей задачей, а потому не торопясь, с удобством и удовлетворенностью растянулся на диване, стараясь сосредоточить свои мысли, которые не давали ему покоя и которые не могли им быть сосредоточены па улице, мысли все о том же страшном, простом и волнующем: «как я дошел до этого»...

.
.

Спал ли он? Был ли это бред, явление летаргии, каталепсии или сомнамбулизма?

Он не знал. Он запомнил только одно: когда он начал думать, то машинально сосредоточил свой взгляд на блестящем ряду зубов верхней челюсти жалующегося на холод черепа, ясно видел, как череп этот зевнул, даже стук зубов при обратном закрывании рта им был услышан, а потом... не стало времени.

И однако, именно в то мгновение, когда его не стало, мысли сделались удивительной, почти волнующей четкости и ясности, и он вспомнил решительно все, последовательно и логично сосредоточивая их вокруг одной точки разом, как разгаданный ребус, уяснив себе мучивший его вопрос.

А окончилось это состояние только тогда, когда появилась полная возможность поставить психологическую точку, совпавшую как раз с осторожным стуком в запертую дверь.

Теперь для него это стало ясным уже в окончательной форме.

Ну понятно! Что такое наркоз или гипноз, или даже просто нормальный сон? Много ли мы знаем об этом предмете? Когда я даю больному вдыхать хлороформ или эфир, я это делаю, оставляя в стороне вопрос о психологическом результате действия, для того только, чтобы сделать больного невосприимчивым к боли.

Не странно ли уже одно это?

Путем чисто физиологического воздействия на живого, чувствующего, мыслящего человека, я получаю возможность сделать из него, не лишая его ни одного атома его жизненных биологических функций, кусок все еще живой, но уже бесчувственной материи!

В чем тут дело?

Фармакология учит нас, что действие определенного сочетания углерода, водорода и хлора способно оказывать парализующее влияние на ткани и клетки организма животного, в особенности на клетки центральной нервной системы. И, в сущности говоря, это все. Конечно, господам Пановым этого уже достаточно для того, чтобы без всякого колебания и смущения приступить к операции, зная, что его больной перестал «чувствовать».

Но я, профессор Звездочетов, не совсем уясняю себе, какое отношение имеет «чувство» к клеткам центральной нервной системы. И имеет ли оно вообще какое-либо отно-

шение к ним?

«Расстройство деятельности головного мозга, — говорит желающему слушать та же фармакология, — прежде всего проявляется в нарушении высших психических его функций». Для того, чтобы не разойтись с наукой и понять смысл этого определения — само определение должно стать сперва трижды непонятным. Панов этой фразы не шифрует. Он принимает ее непонятность таковой, какова она есть. Так поступать нельзя. Прежде всего, определение «высшие психологические функции головного мозга» нуждается в пояснении.

И вот схема моих умозаключений на этот счет такова: эта «высшая функция» и есть не что иное, как наше «я», являющееся в свою очередь ничем иным, как волевым сознанием механических процессов жизни, имеющим место в любом живом организме благодаря электромагнитным полям напряжения, создаваемым протоплазмой клеток нормального строения и состава. Это свойство здоровой протоплазмы лежит в ней самой и происходит чисто механически, так что весь процесс этот можно уподобить обыкновенной эманации. Когда хлороформ разрушает нормальную белковую структуру протоплазмы — эманация прекращается, электромагнитное напряжение выключается, а с ним вместе, выражаясь уже обыкновенным языком, и тот симптомо-комплекс восприятий впечатлений внешнего мира, что глупыми суеверными людьми называется страшным, но ничего не выражающим словом: «душа». Наркотизируя животное или человека, мы просто, таким образом, лишаем на время его «души». При гипнозе происходит то же самое, с тою только разницей, что протоплазма лишается возможности эманировать электромагнитные токи не благодаря физиологическому на нее воздействию, а благодаря воздействию встречных электромагнитных волн, идущих из глаз, рук, всего вообще тела гипнотизера. Если эти волны недостаточно сильны, протоплазма преодолевает их, и состояние гипноза не наступает.

Не согласиться со мною трудно. Раз мы можем уничтожить во время наркоза или гипноза наше волевое соз-

нение, иначе наше «я», то это «я» должно быть величиною вполне конкретной, реальной и измеримой, ибо уничтожить ничто — никто не может. Уничтожить можно только что-нибудь.

Однако, между состоянием наркоза или нормального сна, который наступает благодаря тем же причинам, что и наркоз, и может быть формулирован как «авто-наркоз», т. е. на протоплазму клеток центральной нервной системы в данном случае действует не хлороформ, а какие-то яды, накопившиеся внутри самого организма, и состоянием гипноза, благодаря различным способам воздействия на протоплазму, можно провести два кардинальных отличия.

Первое — при наркозе происходит простое выключение электромагнитных полей напряжения, каковое для большей простоты я буду в дальнейшем называть «душою», ибо с точки зрения волевых восприятий, механических и психических, нашим организмом — это синонимы. Но выключенная при наркозе «душа» не покидает оболочек тела. Она только «выключена» из него.

При гипнозе происходит иное.

Электромагнитные токи гипнотизера, т. е., иначе, его «душа», при известных условиях может не выключить «душу» гипнотизируемого, а просто вытеснить ее из ее материальных оболочек, ибо эта самая «душа» такая же материя, как и вытесняющие ее токи. Конечно, это может повлечь за собою катастрофу, ибо вытесненная «душа» обратно в оболочки вернуться не может и расходится по мировому пространству, как всякая энергия — электричество, свет, лучи Герца и т. д.

Такое грубое обрывание связи между электромагнитным напряжением организма и материальными источниками его возникновения и передач может повлечь за собою смерть, т. е. разрушение протоплазмы в клетках, а отсюда, как последствие, смерть, т. е. иначе прекращение жизненных функций, являющихся простыми рефлексиями изъять «души», всего организма.

Однако, что крайне интересно и важно и является вторым, вытекающим из первого, отличием гипноза от нар-

коза, это следующее: при надлежащей постановке опыта можно предварительно собрать в одно определенное место «душу» животного, а затем проникнуть своею «душой» в материальные оболочки этого обездушенного животного, т. е. заменить в организме животного один вид энергии — другим видом ее.

Результаты от такого опыта должны получиться потрясающие.

Так как изъятая «душа» индивидуума есть, как уже сказано, не что иное, как наше «я», т. е. волевое восприятие впечатлений внешнего мира, то, проникая в обездушенные оболочки нашими «душами» — мы сумеем познать, так ли познаются реальные ценности мира и его свойства другими, как нами.

Существую ли я для другого, или этот «другой» существует только во мне?

Для всех ли движение и время принимаются, как свойства мира, или они только свойства моего индивидуального восприятия несуществующих ценностей?

Одним словом, короче: путем проникновения нашего «я» в обездушенные оболочки другого мы познаем свойства мира, не пропуская их через призму нашего сознания, а познаем все вне себя, т. е. не в Субъективе, а в Объективе.

Таким образом доказуема реальность нашего мира. Понятно, могут быть различные способы его познания. Больной, страдающий дальтонизмом, например, ощущает зеленый цвет, как красный, а красный, как зеленый, но не все ли равно, какими именами называть вещи — важно лишь то, что они действительно существуют.

И совершенно не важно, как воспринимается мир другими — важно, что мир реален и материалистичен. Мои опыты должны это доказать, а доказав — открыть еще одну тайну, волнующую человечество... Они докажут существование первопричины. Глупые люди называют эту первопричину богом — тогда когда первопричина эта, являющаяся заряжающим принципом волевого начала, — есть не что иное, как... материя.

Эта материя, являющаяся и существующая в космосе в виде еще неизученной, особого вида энергии, проникает в нас, создавая наши мысли, эмоции и идеи. Простая материя.

Потому-то с нашей смертью и кончается все и время, и движение, и пространство, как в более слабой степени они прекращают быть ощутимыми и во время наркоза или гипноза, вследствие того, что наше волевое сознание возвращается обратно к своему первоисточнику — основной материи Космоса, и плазма нашего тела остается вне сферы влияния этой заряжающей наш организм — космической энергии.

И, если обыкновенный гипнотизер может приказать молодой девушке раздеться и производить нескромные телодвижения, а 80-тилетней старухе изобразить молодого петуха, гонящегося за курицей, причем и та и другая артистически будут выполнять приказания, то, конечно, я не удивлюсь, если обнаружу, что люди часто называют различными именами — одни и те же вещи. Однако все это надо узнать и проверить. Затруднений предстоит много. Необходимо прежде всего изобрести такой аппарат, который, силой в нем самой заключенной, поглощал бы и конденсировал в себе — «душу» любого подходящего к нему живого организма. Это трудно... Но — зная уже реальные, даже материальные свойства «души», это не невозможно сделать... есть радий... я попытаюсь.

Второе и последнее затруднение будет значительно серьезнее:

— Удастся ли мне сохранить в своем сознании пережитые минуты другого существования, преломленные и критически осознанные мною — уже как мною, а не как тем, кем я был? Конкретнее: превратившись в икса, я буду иксом. Вернувшись в себя, сумею ли я, как Звездочетов, понять психологическую конфигурацию икса, или понять его я буду иметь возможность, лишь будучи им? Тут может на первых порах произойти путаница. Понятия другого и его восприятия (в особенности, если они будут отличаться от моих не только психологически, но и математически), мо-

гут перепутаться с моими собственными и в результате получится довольно кислый винегрет. Что заставит мою «душу» вспомнить о переживаниях другой «души», раз ее материальная связь с моей материей будет во время опыта порвана и соединена лишь с материальными путями другой материи? Однако... тут надо попытаться. Можно попробовать поступить следующим образом: проникнуть лишь половиной своей «души» в материальные оболочки другого, а оставшуюся половину подвергать авто-гипнозу. Таким образом, между путешествующей половиной и половиной, оставленной в покое, будет непрерывная связь, которая выразится в том, что одна будет переживать, а другая будет запоминать переживания первой.

Итак, понятно, опыт предстоит тяжелый и трудный и ручаться за успех его теперь еще преждевременно, конечно, но... решение вынесено: надо попробовать, надо попробовать!

VII

Ольге Модестовне надоело стучать в дверь и она осторожно нажала на ручку.

Дверь оказалась закрытой.

Ольга Модестовна прижала свою левую руку к полной крепкой груди, как бы желая несколько ослабить силу сердечного толчка.

Что это значило? Николай болен? Что происходит в душе этого замкнутого и непонятного ей человека, с которым она так легко связала свою жизнь и к которому успела уже привыкнуть, как жена и любовница?!

Она давно заметила в муже пугающую и удивляющую ее перемену, объяснить которую была не в силах.

В чем дело? Он полюбил другую? Это было менее всего вероятно! Как раз за последнее время он особенно часто приходил к ней как муж, и всем существом своим она чувствовала, что, лежа в объятиях его, доставляет ему настоящее наслаждение, какое только может доставить вполне владеющая искусством любви женщина.

Может быть, он ревнует?

Это было бы, конечно, смешно, но... не невозможно. Та грубость, что часто прорывалась у него по отношению к ней, иногда совершенно неожиданно, а главное, всегда в разгаре его страстных ласк, могла бы служить некоторым указанием на нее.

Но к кому же он мог ее ревновать? Или он просто в эти минуты видел в ней женщину в нарицательном смысле этого слова, и инстинктом самца чувствовал ее возможное и всегда в нее вложенное непостоянство?

Так, по крайней мере, судя по его разговорам, он думал о женщинах.

Он часто высказывал этот взгляд свой, говоря:

— Женщины все, как одна, и ни одна не похожа на другую. Общее в них — принцип, — различие — метод. Каждая женщина лжет и обманывает по-своему, но лгут и обманывают они все вместе, без исключения.

Она горячо спорила с ним, она выставляла ему себя, как пример, — он только зло улыбался и говорил в ответ:

— Пять лет я живу с тобой и люблю тебя. За эти пять лет, мне думается, я успел изучить твою психику до тонкости и познать тебя в деталях, но я не поручусь, что наступит мгновение, когда я принужден буду убедиться, что имею своей женой совершенно чужого и незнакомого мне человека.

Ее пугало такое отношение мужа к себе, однако, где-то в недрах своей души, она всегда и со страхом боялась себе признаться, что он был прав.

«Надо будет, под каким-нибудь предлогом, попросить Панова осмотреть его и заставить согласиться на отдых. Он просто переработался и чрезмерно переутомился, вот и все», — успокоила себя Ольга Модестовна тем же способом, каким успокаивала себя и вчера, и позавчера, каждый раз; одним словом, как думала о перемене, произошедшей в муже, как успокоила себя уже раз сегодня, узнав о его небывалом возвращении домой днем, но не заметила, что обманывает себя самое.

Ей казалось, что с каждым разом она находит все новые мотивы для успокоения, и причем на этот раз уже окончательно правильные.

Рука инстинктивно продолжала поддерживать левую грудь, но сердечный толчок продолжал быть таким же мучительно-болезненным.

Звездочетов был недоволен, что ему помешали.

Стук в двери разбудил его, вернее, вернул его к сознанию окружающей обстановки, ибо он и не думал ведь спать... Он только думал.

Однако, ввиду того, что все мысли его оказались приведенными в стройный порядок и определенную систему, которую ни забыть, ни перепутать было уже невозможно, точка была поставлена без форсировки, естественно и на надлежащем месте, — он не перевел своего недовольства в гнев или раздражение, а просто, поморщившись, встал с дивана, накинул на себя снятую было куртку и, крикнув в сторону дверей: — «Подожди, я сейчас открою», поправил

сперва на голове сбившиеся волосы и только тогда подошел к дверям, чтобы их открыть.

VIII

Лицо Ольги Модестовны показалось настолько бледным распахнутому двери Звездочетову, что он отступил назад, пораженный и не ожидавший увидеть свою жену в таком состоянии.

— Что, с тобою, Ольга?

— С тобою что, Николай?

Звездочетов зло усмехнулся.

Ольга Модестовна почувствовала, что он что-то подумал о ней и ей стало страшно, что этой мысли она никогда не сумеет узнать.

— Со мною — ничего... — тихо пропел Звездочетов и взял Ольгу Модестовну за руку.

— Зайдем ко мне, Ольга.

Ольга Модестовна повиновалась совершенно бессознательно, продолжая думать: «Действительно, он прав. Сколько бы ни жить с человеком, его никогда не узнаешь, потому что мыслей другого знать не дано...»

— Ты, Ольга, о чем задумалась? — спросил Звездочетов и, не давая жене ответить, продолжал, как бы уже выслушав не сказанный, а только подуманный ею ответ.

— Да, да, мой друг. До сих пор чужие мысли нам были неизвестны, но... скоро все будет по-другому. До сих пор мир, проникая в наши существа, — погибал, возрождаясь вновь лишь с нашей смертью. Теперь будет иначе. Мы сами научимся проникать в сущность мира, погибая в нем, как Единицы и оживая, как Целое. Знаешь, что индусы называют словом «Джива»?.. Это особая жизненная сила, присущая нашей материи и существующая извечно вне ее.

Множественность этой силы мы познаем, пока живем, — единство ее — никогда. Это единство может быть познаваемо лишь с нашей смертью, т. е. только тогда, когда часть этой самой силы, в нас заложенной, вернется к своему единству и станет им. «Мне отмщение и Аз воздам» — пора забыть.

Это произойдет тогда, когда время станет конечным, как всякое протяжимое измерение. Эмоция, ибо эмоция есть не что иное, как энергия, не создается и не исчезает. Она только переходит из одной формы в форму другую. Это закон сохранения ее. Эмоция станет измеримой величиной и не она нами, а мы начнем управлять ею. Тогда расцветет заря новой жизни и мы познаем друг друга. Никто не сможет ни обманывать, ни просто не понимать другого. Мы познаем Миры остальных планет.

— Ты переутомился, Коля, — тихо сказала Ольга Модестовна и рука, нервно игравшая кружевом блузки, судорожно сжалась в кулак.

— Ты хочешь сказать, Оля, другое, — улыбнулся Звездочетов. — Вот видишь, мой друг: мы привыкли в нашей жизни поступать таким образом. Мы думаем одно, а говорим совсем другое. Мы так привыкли лгать, что делаем это уже на основании инстинкта, однако, я твердо верю в это. — Ложь не инстинкт Человека. Согласись, что если бы ты сказала то, что подумала, то фраза твоя прозвучала бы так: — Ты сошел с ума, Коля. О, милая Ольга, чтобы быть мудрым, необходимо трижды отречься от своего ума!

— Ты говоришь все о каком-то нашем внутреннем содержании, Николай, — отвернула свою голову в сторону Ольга Модестовна, — только об эмоциях, а что же ты намерен сделать с материей, присущей каждому содержимому, в твоей новой, «грядущей эре»?

— Материя? Да ведь материя — это та же эмоция, иначе говоря — энергия, только в одной из своих устойчивых форм.

Мельчайшая частица материи — это вихревое движение эфира, называемое электроном. Электроны образуют атомы, атомы-молекулы, молекулы — элементы, элементы — тела. Но ведь в основе-то лежит эфир. Все дело только в движении, каковое придает этому эфиру, ничем не отличающемуся от эмоции, временно устойчивую форму. Временно — ибо, если прекратится движение, материя растворится в эфире. Прекратись завтра движение планет — Космос, словно кусок сахара, брошенный в стакан чая, растворится в Ничто. Я не могу предугадать наперед, какие устойчивые

формы, в будущем, примет эмоция и каковы будут, следовательно, свойства грядущей материи. Я знаю только одно, что материя недолговечна, ибо ее устойчивость есть результат проблематичного движения. Меня мало интересует материя. Неустойчивые формы эмоции, каковыми являются электричество и магнетизм, меня интересуют больше, ибо эти неустойчивые формы ее суть не что иное, как наша «душа».

Материя интересна лишь с той точки зрения, что сумеем ли мы ее когда-нибудь переводить, по нашему желанию, в формы неустойчивые. А это очень важно научиться делать, ибо устойчивая форма эмоции, т. е. материя, содержит огромное количество скрытой энергии, освобождающейся при переходе эмоции из одной ее формы в другую. В одной медной копейке заключено ровно столько энергии, сколько нужно для того, чтобы провести целый поезд четыре раза вокруг земного шара. Это уже математика. Это дважды два. Я думаю, что эра Объективизма научит Единого Человека освобождать эту эмоцию из своего плена.

Звездочетов хотел еще что-то сказать, но замолчал.

Ему показалось, что Ольга Модестовна плачет.

— Посмотри-ка на меня, Ольга.

Ольга Модестовна головы не подняла.

Она прижала к глазам носовой платок, обеими руками, крепко, крепко. Чтобы не дрожали руки.

Но углы рта были открыты и по ним было видно, что она плачет.

IX

В передней раздался звонок.

Ольга Модестовна встала, крепко ухватила за край стола, чтобы не упасть, и сказала, стараясь не выдать своего уаса перед чем-то неведомым ей самой, но грядущим на нее, страшным и таинственным:

— Это звонок Софьи Николаевны.

Два раза в неделю профессор Звездочетов назначал у себя на дому прием тем больным, которых имел в виду положить к себе в клинику на операцию.

В эти дни Софья Николаевна обязана была присутствовать у него на приеме, чтобы заранее быть знакомой со своими будущими пациентами и, зная характер их болезни и назначенное Звездочетовым лечение, приготовить своевременно в больнице все необходимое к их приезду.

Доктор Панов тоже обычно присутствовал на этих приемах, но сегодня он не мог быть, так как делал за профессора визитации на дому.

Звездочетов как-то сразу успокоился после звонка, — как бы вернулся снова к нормальной жизни.

Он строго посмотрел на жену и спросил:

— Ты всем сообщила о том, что я сегодня не буду?

— Да.

— Насчет Панова упомянула?

— Четверым. Остальные предпочли дожидаться тебя.

— Хорошо.

Звездочетов не знал, что сказать еще. А сказать что-то надо было. Вот ведь он уже успокоился, а она, Ольга Модестовна, все еще дрожала, как в лихорадке.

— Неужели это уже Софья Николаевна? — спросил он наконец. — Который же теперь час?

— Около восьми, вероятно.

Ольга Модестовна решила.

Она выпрямилась и твердо подошла к мужу.

Обняла его крепко своей левой рукой, а правой медленно, почти торжественно перекрестила.

Звездочетов расхохотался.

Он был уже нормальным человеком, он был уже на земле, и этот поступок жены мог только рассмешить его. Как боевой конь, по многолетней привычке, вздрагивает от звука трубы, так он, вздрогнув, вернулся к действительности при напоминании о скором приходе его больных.

Жизнь всегда останется жизнью, привычка — привычкой. Он с неясностью обнял жену, крепко поцеловал ее и ласково повлек к двери.

— Ну иди, иди, дурочка, — говорил он, целуя глаза, щеки и рот сразу все забывшей и уже почти счастливой Ольге Модестовне.

— Не мешай нам заниматься.

Когда дверь открылась в гостиную, навстречу вошедшим поднялась со стула строгая, в суровом коричневом платье, с алым пятном кровавого креста на груди и ослепительно белой косынкой на голове, холодная и бесстрастная фигура Софьи Николаевны.

Ответив наклоном головы на приветствие Ольги Модестовны, она прошла в кабинет, будучи приглашена знаком руки предупредительно посторонившегося профессора.

«Теперь или никогда», — почему-то мелькнуло в сознании Звездочетова, когда он окинул взглядом фигуру сестры.

Профессор был в исключительно хорошем расположении духа.

Ему вдруг захотелось пошутить, сказать что-нибудь теплое и ласковое этой всегда замкнутой в себе холодной женщине, так скучно и пусто воспринимающей безразличность жизни.

Надевая белый, свежий, несколько франтовато скроенный халат, не с тесемками, а на перламутровых пуговицах, он весело взглянул на располагавшую уже инструменты на выдвижной полке хирургического шкафика в том порядке, в котором он любил их всегда находить, Софью Николаевну и, обращаясь больше к ее холодной бесстрастности, чем к ней самой, сказал:

— Милая сестрица, ну когда же наконец человечество увидит сияние вашей, вероятно, очаровательной, раз вы так скупы на нее, улыбки? — и, чтобы не показаться навязчивым и неприятным, сейчас же добавил: — Сегодня прием будет непродолжителен. Я распорядился принять только нескольких, самых неотложных больных. Остальные будут направлены к Панову.

Софья Николаевна зажигала маленькую спиртовую лампочку под блестящим стерилизатором.

Она сперва промолчала, потом ответила сухо и скучно на первую половину профессорской фразы:

— В мире не стало бы светлее от моей улыбки!

— Почему, мой друг?

— У каждого своя жизнь, Николай Иванович. Каждый живет и мыслит по-своему и каждый по-своему лжет, конечно.

Ее мысли страшно совпали с мыслями Звездочетова, начавшего уже думать о другом, и это удивило его. Он думал: «А ведь вот эта замкнутая, совершенно бесстрастная и холодная женщина сказала сейчас вещь, характеризующую ее огромный, скрытый темперамент, который ничем не

проявляется, в ней, и следовательно, она лжет так же, как и те, кого она обвиняет во лжи.

Да, жизнь течет, все меняется, все проходит, но все то, что меняется и проходит, меняется и проходит по-своему, по какому-то непонятному шаблону, не соприкасаясь своим тайным значением со значением рядом, параллельно ему текущего явления.

Все мы говорим на разных языках, полагая, что изобрели какой-то язык эсперанто. Как могу я, будучи самим собою, понять хотя бы вот эту, стоящую рядом со мною, женщину? Способна ли она на любовь, на жертву? Знает ли она мужчину? Отдавалась ли она ему?

Только проникнув собою в нее, я смогу ответить на эти вопросы...»

— Это верно, — вздохнув, ответил Звездочетов Софье Николаевне.

А Софья Николаевна думала в свою очередь: «Вот этот волшебник мысли, господин воли и внушения, вот он, знающий, что знает многое, не знает такой близкой, такой постоянной, касающейся его эмоции, заключенной во мне: “Я люблю тебя, я люблю тебя!”»

Люди не понимают друг друга — не могут понять, но... теперь — или никогда.

Вот я раскладываю инструменты и в каждом пинцете вижу отблеск дорогого лица, а это дорогое лицо думает, что я занята приготовлением к приему совершенно мне безразличных больных...

Спрошенный о состоянии своего здоровья полагает, что вопрошающей интересуется этим его здоровьем и подробно, ухватившись за пуговицу пиджака любопытствовавшего неудачника, брызжа ему в лицо слюною, длинно повествует о том, как у него вчера варил желудок, в то время как со вниманием выслушивающий его желудочную исповедь собеседник тоскливо думает: “У-у, проклятый, чтоб у тебя разорвался бы твой проклятый желудок, мне-то до него какое дело!” Ложь! Она всюду, но... сердце отчетливо отчеканило в груди: “Теперь или никогда, теперь или никогда”...»

Звездочетов, как бы слыша мысли Софьи Николаевны, перебил их восклицанием:

— Лгут или просто не могут понять друг друга?

Совпадение этого вопроса с мыслями Софьи Николаевны получилось потому только, что оба думали аналогично.

Но Софья Николаевна вздрогнула от этого совпадения.

— Не все ли равно? — с удивлением глядя на Звездочетова, спросила она.

— Для результата это, конечно, безразлично, но не для оценки...

— Какая же может быть оценка другого, когда самих себя мы оценить не можем? Либо недооцениваем, либо переоцениваем.

— Вы, Софья Николаевна, что-то философски настроены сегодня!

— Может быть, — а сердце тяжело ухнуло: теперь.

Внезапно она повернулась к Звездочетову и, громко воскликнув: — Я не могу больше так, господи! — решительно подошла к профессору и упала, закрывая лицо руками, перед ним на колени.

— Я люблю вас...

Звездочетов остолбенел.

Но он своим сильно развитым подсознанием понимал, что кризис в душе этой женщины миновал, что она твердо решилась на свой шаг и сейчас скажет ему все, все то, что так долго таила в себе, без стыда, без предисловий, как должное, как единственную правду, на которую способен человек.

Профессор, поняв это, не растерялся, ласково нагнулся к упавшей перед ним на колени женщине, поднял ее с пола и, прижимая к себе, интуитивно чувствуя, что эта внезапная близость приятна им обоим, усадил ее на диван рядом с собою. И, как опытный врач не только тела, но и духа, ни единым словом, ни единым жестом не перебил путавшуюся и красневшую, сжимавшую его руки в своих, возбужденную Софью Николаевну, в ее исповеди к нему, продолжавшейся довольно продолжительное время, ибо Софья Николаевна поведала ему действительно все. Всю

свою жизнь. И он знал, что она должна была все это сказать и нисколько не удивлялся слушаемому. Да. Всю свою жизнь поведала Софья Николаевна, всю муку свою и тоску; всю неудовлетворенность своего пребывания среди дурно пахнущих кусков человеческого мяса, полное отсутствие своей воли, отдавание себя студентам и ординаторам без всякого чувства плоти, ради того только, чтобы в объятиях другого мысленно представлять себе его объятия, и, наконец, свой сегодняшний разговор с обеспокоенным Пановым и ее твердое, принятое ею после этого разговора решение открыть всю правду своему богу, ему, Звездочетову, и отдать себя и свою жизнь в его полное распоряжение и неотъемлемую собственность, если только, о, если только он не совсем отвергнет ее.

— О, возьмите ее у меня, мою глупую жизнь, если она вам на что-нибудь может вообще пригодиться! — страстно закончила она свою исповедь.

Это последнее слово, сказанное Софьей Николаевной, слово «жизнь» зацепилось своим острым значением за какую-то неведомую мозговую клетку Звездочетова, и вдруг всей огромной тяжестью своей надало на мозг. Профессор почему-то вспомнил, с необычайной яркостью и отчетливостью, лежащий в грязи мостовой «Requiem» и отпечатывающийся на нем лапку стриженного пуделя.

— Да — это жизнь, — подумал он. — Это жизнь. Непроникаемая, непонятная, а просто существующая, без смысла и значения, без понимания и логики — жизнь.

Пудель и любовь. «Requiem» и извозчик, задравший кверху свой армяк... Жизнь, жизнь, жизнь! Бесформенное проклятие. Самая неустойчивая устойчивость бесконечной конечности... Это жизнь.

— Софья Николаевна, налейте мне двадцать пять капель валерьянки, пожалуйста — у меня закружилась голова... — сказал Звездочетов, напрягая всю силу воли, чтобы отогнать овладевшую им обморочную слабость.

XI

В приемной профессора собралось пятеро больных.

Первой вошла высокая, пожилая дама с сильной проседью в волосах, туго затянувшая свое начавшее расплываться тело в старомодный корсет, высоко подпиравший ее огромные груди.

Она села на диван и, достав из ридикюля маленькую книжечку в сафьяновом переплете, принялась за чтение. Вторым вошел веселый, розовый старичок с забавным хохлом на затылке.

Потом — все зараз, вошли трое: две барышни, очевидно, сестры, бойкие и шустрые, как молодые мышата, в задорно шуршавших шелковых юбках, высоко обнажавших тонкие, красивые ножки, обтянутые ажурными чулочками и обутые в лакированные туфельки. Третий, вошедший с барышнями, видимо, совершенно случайно повстречавшийся с ними на лестнице, совершенно им незнакомый человек, несколько даже недовольный и шокированный этой встречей, был плотным, пожилым уже субъектом, одетым в безукоризненно сшитый сюртук самого строгого покроя, с безупречно белым накрахмаленным воротничком и круглыми манжетами, скрепленными большими золотыми запонками в виде плоских пуговиц, с выгравированными на них крупными монограммами. Господин этот был очень близорук, о чем можно было догадаться по сильно выпуклым стеклам очков, вправленных тоже в золото, к которому вошедший был, видимо, очень равнодушен. Очки важно покоились на породистом носу с горбинкой у переносицы, и вообще весь внешний облик вошедшего дышал олимпийским величием и неприступностью. Сурово оглядев барышень, как бы желая объяснить уже дожидавшимся здесь, что он с ними ничего общего не имеет, он выбрал себе кресло неподалеку от веселого старичка и *vis a vis* степенной дамы и, сев в него, сделался еще более неприступным и важным.

Барышни переглянулись, весело рассмеялись глазами и чинно, как институтки, уселись вдвоем на одном маленьком узеньком диванчике в углу гостиной.

Господин с золотыми очками еще раз сердито посмотрел на них, но про себя подумал:

«Недурна малинка».

Потом приподнялся чуть-чуть со своего места и, собственноручно говоря, ни к кому не обращаясь, почтительно спросил, глядя больше в сторону пожилой дамы:

— Если осмелюсь полюбопытствовать, кто будет первый на очереди?

Веселый старичок, очевидно, большой охотник до разговоров, принял этот вопрос, как за шаг к знакомству со стороны важного господина и, быстро привстав со своего кресла, пересел на кресло поближе к спрашивавшему.

— Они-с.

Сказав это, старичок почтительно вскинул свои быстрые глазки на пожилую даму.

Господин в ответ почему-то нахмурил брови и, взяв со стола один из разбросанных по нем журналов, принялся его перелистывать.

Старичок, однако, не понял этого жеста.

— Виноват, — вежливо обратился он к господину, — если вы изволите торопиться куда, я с удовольствием могу уступить вам свою очередь. — Я второй.

— Благодарю вас, но это совершенно неприемлемо. Вы пришли раньше меня, естественно, что вы и должны быть раньше принятым, — сухо сказал господин.

Старик вздохнул.

— Нам торопиться некуда, — доверчиво сообщил он. — Я, если вам знать угодно, так даже рад посидеть немного в незнакомом мне месте и понаблюдать жизнь, что называется.

Старик весело рассмеялся.

— Я должен вам сказать еще, что совершенно холост и живу одинешенько... Занятий у меня никаких нету-с. Отчего же, спрашивается, и не посидеть? когда над тобой не каплет.

Барышни в углу переглянулись, шущукнулись и тихонько рассмеялись.

— Вы необычайно любезны, но, повторяю, это совершенно неприемлемо. Принципиально я не могу вашей любезностью воспользоваться.

Старик снова вздохнул.

Он всегда печалился, что люди не понимают его.

Разговор не клеился.

По прошествии некоторого времени, проведенного всеми в молчании, он рискнул попытаться снова.

Вначале ни к кому не обращаясь, он быстро заговорил, закончив свою фразу уже прямым вопросом по адресу господина.

— Много как нонче-с больных развелось. Ну, нам, старикам, это еще простительно, а вот почему же, спрашивается, молодежь хворает? Неужели наша наука не научилась еще раз и навсегда, что называется, уничтожить самую, т. е. возможность всякой болезни разной? Вот каково ваше мнение по поводу сего предмета? Ваша наружность говорит, что вы, наверное, представитель одной из наук.

Господин улыбнулся, отложил журнал в сторону и сказал:

— Вы ошиблись. Я старший прокурор губернского суда.

Старик засуетился, встал со своего места и снова заговорил охотно и быстро:

— Очень, очень даже лестно познакомиться. Моя фамилия Пьянчанинов. Не от слова «пьяница», а, как я полагаю, от слова «*piano*». Некогда, может быть, слышать изволили, не совсем чтобы безвестный регент собственного Пьянчаниновского хора...

— В провинции я слыхал вашу фамилию, в связи с хором, — сказал господин.

Старик просиял.

— Так точно-с. В провинции. Гремели-с! Харьков, Казань, Ростов, Тула, Екатеринослав. — Старик скорбно вздохнул: — А сейчас уже целых пятнадцать лет на полном покое, что называется.

— Почему же так? — больше ради вежливости, чем из любопытства, спросил прокурор.

— Геморрой-с, — лаконически ответил старичок.

Дама положила свою книжечку в ридикюль обратно, барышни перестали шушукаться и вытянули свои шейки по направлению к разговаривавшим, и прокурор сочувственно наклонил голову набок.

Дело старичка было в шляпе. Сейчас неминуемо должен был завязаться общий оживленный разговор, ибо тема для него была найдена, причем тема самая животрепещущая и реальная, тема, ради которой все эти люди собрались сюда и с бьющимся сердцем и нетерпеливым замислением его ожидавшие открытия страшных дверей профессорского кабинета, готовые в любую минуту, испытывая настоящее наслаждение, поведать другому о своей болезни и выслушать от этого другого, кем бы он ни был, его сочувствие, а также с удовольствием убедиться, что есть на божьем свете болезни еще ужаснее и неизлечимее той, которой болеешь сам.

И разговор этот неминуемо должен был обнаружить пред его участниками всю язвенную наготу человеческого тела, красиво задрапированного в шелка и крахмальные воротнички.

И разговаривавшие быстро сблизились друг с другом, будучи объединяемы едиными помыслами, позволяя себе, — мужчины, несмотря на присутствие дам, а дамы — невзирая на близость мужчин, такие определения, термины и слова, что, прочти они свой разговор стенографически записанным в каком-нибудь романе, то сочли бы автора за грубого балаганщика и развратно больного порнографиста...

— Неужели столь незначительная причина могла заставить вас бросить любимое вами дело? — спросил прокурор.

— Что вы, что вы, — обидчиво обеими руками замахал на него старичок. — Что вы! Да знаете ли вы, что такое геморрой? Это, я вам доложу, король над всеми болезнями! При каждом испражнении я теряю полстакана крови.

— Это ужасно, — воскликнула дама и подумала: «Однако, мои менструации суший пустяк перед этим».

— Скажите, — уже полный любопытства, спросил прокурор, — и это каждый раз сопровождается у вас болями, или...

— Ну, еще бы, — перебил старичок. — Еще бы. Я помню, у моей покойной жены были очень болезненные менструации, так она, глядя на мои мучения, говаривала: я хоть один раз в месяц мучаюсь, а ты бедняжка, при каждом испражнении, при каждом испражнении...

— Будьте, как мужчина, осторожнее насчет утверждения, что менструации могут быть недостаточно болезненны, — обидчиво и с достоинством сказала дама. — Я как раз принуждена обратиться к профессору по этому поводу. У меня хроническое воспаление шейки матки и, уверяю вас, что ежемесячно я рискую сойти с ума от боли. Одно утешение — это мой возраст...

— Но ведь полстакана крови, сударыня, полстакана крови при каждом испражнении, — обидчиво волновался раскрасневшийся старичок.

— Н-да, — покачал головою прокурор, подумав про себя: «Какое, однако счастье, что я не женщина и геморроем не страдаю».

— А чем вы страдать изволите? — как раз в это время спросил его старичок.

Прокурор ответил неохотно.

— Да, в сущности говоря, пустяки. Так. Камни.

— В печени-с?

Досадуя, что его болезнь может послужить старичку на утешение, прокурор сделал вид, что не слышал вопроса.

Однако старичок сам поставил диагноз.

— О, — воскликнул он, — это тоже номер, доложу я вам! У одного тенора моего хора, по фамилии Казай-Веселовский, тоже были эти камни-то самые. Ну так он во время прохождения их через что-то там, не могу вам сказать дословно, — помер, не моргнув даже глазом.

— Ну, положим, смертельный исход от этой болезни чрезвычайно редок. Статистика смертности от геморроя го-

раздо выше, — строго сказал прокурор.

— И то и другое хорошо, — примирительно сказала дама и, враждебно поглядывая в сторону барышень, добавила: — Вот из здесь присутствующих, кажется, только эти милые барышни достаточно здоровы, чтобы сорить деньгами по кабинетам профессоров.

— Это вы уж совершенно напрасно так говорите, — горько сказала одна из барышень, перебивая свою сестру, хотевшую что-то сказать раньше. — Я действительно ничем не больна, я только сопровождаю сестру, но у сестры моей очень тяжелая болезнь...

Все головы повернулись в сторону говорившей.

— У нее, — продолжала барышня, — язва в двенадцатиперстной кишке — и это ужасно.

— А какие симптомы, позвольте полюбопытствовать? — спросил старичок.

— Страшные боли под ложечкой после приема пищи и к вечеру, тухлая отрыжка и очень неприятный запах изо рта.

— Н-да-с, — сказал прокурор и подумал: «Однако малинка-то не очень хороша».

Желая ослабить впечатление, произведенное рассказом сестры больной, старичок-регент, самолюбиво обижавшийся всякий раз за свою болезнь, сказал:

— Запах изо рта — это, можно сказать, ничего... Взял мятную лепешку и пососал. А вот от запаха в ногах-с как прикажете избавиться?! Мята не перешибет-с! А я страдаю и этим! Вот видите. Говорят, все связано с геморроем и недостаточным уходом за пищеварением. Но это сущий вздор! Самому профессору я не постесняюсь это сказать. Помилуйте: уж я ли не слежу за своим пищеварением?!

Старичок достал из бокового кармана записную книжечку и продолжал:

— Почти каждый день промывательное. Вот здесь у меня все записано. День, число и даже час, когда я самостоятельно испражнялся, а когда с помощью клизмы-с...

Дама, казалось, была поражена такой аккуратностью и, перебивая старичка, воскликнула:

— Вот это я понимаю. Это в моем вкусе. Сразу видно порядочного человека. Мой муж тоже страдает несварением пищи, но необычайно халатен к себе. Надо будет ему обязательно сообщить о вашей системе. Это очень разумно.

— Помилуйте-с! — воскликнул польщенный старичок. — А то как же-с? Допустим, вы забыли, когда в последний раз изволили испражняться и с помощью чего-с... ан книжечка-то тут как тут! Взял, открыл и посмотрел. Очень удобно, всегда при себе и... — старичок не успел окончить.

Двери из кабинета с шумом распахнулись и на пороге гостиной показалась высокая, белая фигура плотно сомкнувшего челюсти и насупившего брови профессора Звездочетова.

В глубине кабинета виднелась другая белая фигура сестры с опущенными вдоль халата руками, холодная, бесстрастная, волнуемая своей замкнутостью, с кровавой эмблемой милосердия и любви на груди, как жертвенно пролитая кровь, пятнавшая эту высокую, белую грудь.

Сердца всех болезненно сжались и забились.

Дама заволновалась, споткнулась, вставая, о скатерть стола, уронила на пол свой ридикюль, который старичок кинулся поднимать, а прокурор сделал вид, что хотел это сделать, но, к сожалению, опоздал.

— Пожалуйте, — сказал профессор, не меняя выражения лица и, пропустив больную вперед, вошел за ней следом в кабинет, плотно закрыв за собою двери.

ХП

И тут и там была жизнь.

Больные думали, что профессор исключительно заинтересован их желудками, половыми органами, язвами, и только и занят, в скучном течении своей жизни, вечными мыслями о них.

А о том, что только что произошло в строгом кабинете с расставленными по порядку на стеклянных полочках бесчисленными рядами блестящих инструментов и жалующимся на вечный холод ледяной космической ночи белым черепом на письменном столе, могли ли они догадываться? Смели ли они думать об этом?

И профессор механически и зло срывал с них, этих удивительно одинаковых и ошеломляюще-различных друг от друга людей, их бутафорские костюмы, обнажая гнилое, почти разлагающееся мясо, совершенно обезличивая их и даже путая, кто из них регент, а кто кровоточивая дама, кто барышня в шелковой юбке, а кто прокурор, делая между ними только одно, — пугающее их и успокаивающее его различие — на основании диагноза обнаруживаемых болезней. Вот это — дисменорея, это — геморрой, а это *ulcus duodeni* — и все.

А до них самих, до всего остального, ему не было совершенно никакого дела.

Но и тут и там была жизнь.

Никем не познаваемая, непонятная никому, но тем не менее жизнь, за которую все они дрожали и о возможной потере которой заранее, со смертельным ужасом, скорбели. Каждый жил сам по себе, не вникая в жизнь другого, только во сне соприкасаясь с нею.

И пока профессор целых пять минут убеждал даму снять корсет, так как через корсет он ее выслушать не может, старичок-регент в гостиной мучился одним для всех ожидавших своей очереди больных вопросом:

«Однако, интересно, что он ей скажет? А вдруг — приговор?»

Когда, наконец, дама вышла из кабинета, в кабинет вошел, солидно откашлявшись, как оказалось, с грациозной легкостью изменивший своему принципу, губернский прокурор, старичок подлетел к даме и с захлестнувшим его всего волнением спросил дрогнувшим голосом, пугливым шепотом, будто речь шла о страшной и исключительной тайне:

— Ну, что?

— Представьте, он запретил мне носить корсет, — полувозмущенно, полууничиженно воскликнула дама и, высоко подняв плечи, важно направилась к выходу.

— Однако, это все до того таинственно и страшно, сударыньки вы мои, — обратился старичок к барышням, — что вы уж уважьте пожилого человека: идите-ка после господина прокурора вы... А я уж подожду маленечко... Так сказать, пока не каплет... хе-хе...

Прокурор сидел у профессора долго.

Когда он вышел, а вошли барышни, лицо его сияло внутренней радостью и торжеством.

— Ну, слава богу, — счастливым голосом сказал он. — Никакой операции не нужно. Говорит — все пройдет само собой. Необходима только диета, прогулки, Виши.

— Куда-с это — выше? — не понял старичок, у которого от волнения вспотели даже руки.

Прокурор улыбнулся.

— Виши. Ударение на последнем слогe и оба «и». Это целебная вода такая. Приятно, однако, оставаться, — подал он на радостях даже свою руку старичку-регенту, неприятно поморщившись при ощущении влажности пожатой руки.

Барышень старичок не смог уже расспросить ни о чем.

Увы! Настала, наконец, и его очередь.

И когда он вышел из кабинета профессора, в его глазах стояли детские слезы тяжелой обиды и непоправимой печали.

Профессор определил его болезнь... безнадежной.

Оперировать было невозможно — сердце никуда не годилось. Но не об этом даже скорбел в настоящую минуту

старенький регент.

В его взгляде, которым он окинул пустую гостиную, можно было прочесть сожаление, что ему некому уже рассказать об этом.

.
.

Когда профессор, отпустив господина Пьянчанинова, убедился, что в гостиной больных больше нет, он, вернувшись в кабинет, затворил двери за собой на ключ.

Подойдя к письменному столу, он закурил папиросу, сильно и с шумом затянулся дымом, одно мгновение глядя прямо перед собой.

Но в это мгновение целый хаос мыслей успел промелькнуть в его воспаленном сознании.

«Вот — они все! — думал он. — Люди. Один испражняется два раза в день, другой только два раза в неделю. У одного пахнет изо рта, у другого воняют ноги. И все это они несут ему, как благоуханный букет, в который он обязан опускать свое счастливое лицо...

Какая гадость! Довольно. Бросить все это надо раз и навсегда и определить, наконец, какое же имеется различие между всеми этими людьми! Дальше так жить нельзя. Пора познать не «о человеке», а самого человека. Судьба идет навстречу его желаниям. Вот она послала ему, как раз в самую решительную минуту, человека, готового всем пожертвовать ради него. Любовь... Но что же такое любовь, как не жертва? Одна из самых изменчивых форм эмоции, заключающая в себе колоссальную двигательную силу. Конечно, это — судьба...»

Мгновение этого вихря мыслей миновало и Звездочетов повернулся к Софье Николаевне, низко опустившей голову и сосредоточенно вылавливающей пинцетом прокипяченные инструменты.

— Софья Николаевна, — сказал он и голос его дрогнул. — Софья Николаевна! Сама судьба, если есть таковая, посылает мне вас на мой путь, вплетая значение вашего бытия в значение бытия моего... Я успел обо всем подумать.

Меня тошнит!.. Вы боялись, что я отвергну вашу любовь. Я с радостью принимаю ее, как ниспосланный дар, но... милый друг — я предупреждаю вас: она потребует много жертв, ибо будет безумна. Отныне вы должны стать моей помощницей в тех страшных и кощунственных опытах над человечеством, которые я намереваюсь проделать. *Aut Caesar, aut nihil!* Пан или пропал. Вы можете погибнуть. Мы рискуем погибнуть оба. Но... мы можем сделаться богами. Ответьте: вы готовы на жертву?

Звездочетов поднял голову и пристально посмотрел Софье Николаевне в глаза.

Она молчала.

Но по этому молчанию, по тому сиянию, что шло из ее глаз, глубоко проникая в сознание профессора, он понял, что жертва уже принесена.

— А теперь уйдите, оставьте меня одного, — глухо сказал Звездочетов, опускаясь в кресло и сжимая дрожащими нервными пальцами мучительно забившиеся вены на похолодевших висках.

Софья Николаевна вышла из комнаты.

ЧАСТЬ II

I

Профессор Звездочетов уже месяц, как окончательно забросил свою практику и работу в клинике. Все свои дела и всех своих пациентов он передал своему старшему ассистенту, предприимчивому доктору Панову, уже через две недели после состоявшейся передачи сумевшему обзавестись собственным выездом, штатной любовницей со строго определенным окладом содержания и породистой таксой, купленной на только что открывшейся всемирной собачьей выставке, достаточно кривоногой и килегрудой для того, чтобы обойтись любительно этой породы в несколько сот рублей.

Грудка у этой таксы была ярко-желтая, словно надетый жилет, и резко выделялась на черном фоне ее длинного тела.

Глаза этого соколовища были большими и глупыми настолько, что когда она, наклонив голову на бок и свешивая почти до пола длинное, розовое, всегда вывернутое наизнанку ухо, смотрела вам в глаза, вы никогда не сумели правильно отгадать ее желание и определенно сказать, чего ей, таксе, угодно — кушать, плакать, приласкаться или укунить вас за ногу.

Однако Панов, считавший себя выдающимся психологом, утверждал, что понимает свое животное с полуслова, что было тем более удивительным, что такса, несмотря на свое немецкое происхождение и большую стоимость, говорить все же не умела ни на каком языке.

Звали эту таксу ничего не говорящим словом «Мульфа». Доктор Панов с особым удовольствием смаковал ее имя, когда хотел показать посторонним удивительную понятливость своей собаки.

— Мульфа, — говорил он, — куш, — приказывая собаке лечь. Мульфа, которая как раз собиралась это сделать без

всякого приказания с чьей-либо стороны, немедленно, как ужаленная, вскакивала и садилась на задние лапы, склоняя голову набок и спуская книзу длинное, некрасиво вывернутое наизнанку розовое ухо.

Панов восторгался и серьезно обиделся как-то раз на своего приятеля, который, после такого опыта, осмелился робко посоветовать ему:

—Ты бы, Панов, перешел с ней на немецкий язык. Как-никак — но она немка. Русский язык она понимает в слишком широком смысле слова...

Временная «отставка» профессора Звездочетова прошла для всех почти совершенно безболезненно.

Все обошлось крайне естественно и просто.

Панов и Ольга Модестовна, предварительно сговорившись, напрямик объявили профессору, что один, как любящий ученик, а другая, как любящая жена, никоим образом не разрешат ему продолжение работы в больнице, пока он не изволит отдохнуть.

Звездочетов, к крайнему удивлению Панова и Ольги Модестовны, ожидавшим упрямого сопротивления, мгновенно, не выходя из кабинета даже, согласился с их мнением и заявил о своем подчинении их требованию. В глубине души Звездочетов ликовал, что все так гладко шло, благоприятствуя ему в его твердом решении отказаться, по возможности безболезненно, конечно, от непосредственной медицинской работы и посвящению своей деятельности новым, таинственным опытам...

«На этот раз не мне пришлось лгать и выдумывать причину, а другие любезно это сделали за меня», — думал Звездочетов, говоря Панову с усталым видом:

— Да, да — ну понятно, я переутомился. Я это сам чувствую. Я с восторгом, мой добрый друг, соглашаюсь на ваше любезное предложение заместить меня и твердо верю, что дело больных от этого нисколько не ухудшится. Я с тем большим восторгом соглашаюсь на двух-трехмесячный отдых, что клинический материал, коим я располагаю, давно нуждается в систематизации и приведении в порядок. Я дал слово студентам к осени издать учебник, а товарищам

— написать ко дню международного конгресса хирургов, осенью же открывающегося в Чикаго, трактат о новейшей технике пластических операций на нервных стволах. Кабинетная работа, конечно, утомить меня не может, к тому же я даю слово, что буду заниматься умеренно. — Эту лазейку профессор хитро и умышленно оставил для себя, сделав ее достаточно проходимой даже и для Софьи Николаевны.

Ему была нужна корректорша и переписчица, знакомая со всей латинской терминологией и номенклатурой в области общей и частной хирургической патологии и терапии, и Звездочетов так ловко сумел поставить дело, что доктор Панов, боявшийся отказать профессору в его желании заняться книгой, чтобы не испортить всего дела, сам предложил для этой цели освободить Софью Николаевну от ее клинических обязанностей, так как человека, который более отвечал бы требованиям, выставленным профессором, он себе представить не мог.

Софья Николаевна вот уже целую неделю, как дневала и ночевала в доме профессора Звездочетова, коротая время с Ольгой Модестовной и даже помогая ей по хозяйству, будучи лишь несколько раз на дню, на самое короткое время, призываема троекратным звонком в кабинет ученого, всегда имевшего привычку запираяться изнутри. Когда она переступала порог кабинета, профессор тотчас же, всегда и неизменно, снова запирает двери на ключ и подозрительного в этом, конечно, ничего не было, так как все знали, что это просто давнишняя привычка профессора, всю жизнь проведенного с глазу на глаз с людьми, выслушивая их самые стыдные тайны, которые он обязан был охранять, как свои собственные.

II

Софья Николаевна еще ни разу с того дня, как открылась Звездочетову, не позволила себе снова напомнить ему о своей любви и готовности к жертве...

Она ждала, когда он сам позовет ее, чтобы принести ему эту жертву, прося у него в награду лишь милости не быть отверженной, хотя порою ей казалось, что ее вынужденное молчание и сдержанность и есть та самая мучительная и страшная жертва, какую только может принести женщина на кровавый алтарь ненасытной любви.

Входя, выходя и даже находясь в кабинете своего господина и повелителя, она продолжала оставаться все той же строгой, холодной и бесстрастной сестрой, равнодушной ко всему окружающему, каковой была раньше в клинике Звездочетова.

Только в глубине глаз ее, после мгновенно потухавшей вспышки яркого пламени, появлялось странное выражение, напоминавшее немного выражение глаз смотрящей на своего хозяина Мульфы.

И по выражению этому никак нельзя было понять, чего ждала эта странная женщина: ласки, оскорбления, была ли просто голодна или хотела впиться своими ровными, крепкими, жемчужно-белыми зубами в давно уже начавшую дрожать длинную руку профессора.

А профессор работал вовсю.

День и ночь, ночь и день он проводил за какими-то огромными томами, параллельно, до головокружительных тонкостей и деталей, изучая топографическую гистологию и анатомию нервных клеток и их отростков, начиная с организма одноклеточных и кончая человеком, и самую древнюю и новейшую философию индийских мудрецов, философов.

Шри Рамакришна Парамагамея сменял Б'хагават Гита для того, чтобы уступить место Патанджали и Суоми Ви-века<на>нду.

Свойства Дживы ему стали реально ясны, а наука йогов простой и легко выполнимой.

Сосредоточение мысленных сил человека его мысленной воле, допускание любых мыслей в свое сознание для познания сверхъестественного, находящегося в противоречии не с природой, а лишь с тем, что человеку известно о ней, достигалось им уже быстро и легко, и состояние экстаза наступало почти тотчас же после первых пассивных аутогенных тренировок.

Сейчас профессор был занят уже изучением самайямы, т. е. того, что должен проделать человек над другим человеком, желая сквозь видимые оболочки проникнуть своим сознанием в его тело.

А так как самайяма была результатом упражнения по отношению к материальному предмету, дхараной, дхьяной и самадхией, то Звездочетов уже третью ночь не ложился, практически выполняя эти эмоциональные движения своей мысленной воли. И ввиду того, что дхарана и дхьяна были лишь известной степенью сосредоточенности мысли, направленной на определенную идею, то они, благодаря предварительным упражнениям профессора, давались ему уже легко и быстро.

Несколько труднее обстояло дело с самадхией, каковая являлась уже состоянием особого экстаза, еще ни разу до вчерашней ночи не испытанного Звездочетовым, состоянием высшей степени сверхсознательности.

Однако, и ввиду того, что самую самайяму можно было проделать лишь в этом состоянии сверхсознательности, то профессору оставалось лишь добиться умения быстро, по своему желанию, переходить в состояние самадхии, т. е. уметь производить древнеиндийскую «визитву».

Дело усложнялось еще тем обстоятельством, что профессор, зная, что состояние сверхсознательности есть результат полного разрыва и потери связи с центром нервной системы, т. е. с мозгом, хотел добиться возможности проделывать самайяму, не порывая полностью своих физиологических связей с мозгом, дабы сохранить в себе, по возвращению в нормальное состояние, воспоминания о пе-

режимом, чего индийские йоги добиться не могли и дальше владения способностью проделывать визитву, как конкретизацию явлений, не влекущих за собою никаких могущих из нее вытечь последствий — не шли.

В этом заключался весь секрет.

Однако, профессору было ясно, почему йоги не могли добиться тех результатов, коих должен будет добиться он. Они не знали микроскопической анатомии нервной системы и тех сложных путей и способов, по которым передаются, задерживаются и перерабатываются, всякое воздействующее начало, в каком бы состоянии оно ни произвело своего действия, в состоянии ли сна или бодрствования, ибо и в том и в другом случае материально вся нервная система продолжает существовать в неизменном виде и при известных условиях способна будет задержать впечатления сна или сверхсознательного состояния так же, как она задерживает впечатления от удара, боли, света и т. д. в состоянии яви.

Кроме того, индусы не знали свойства протоплазмы индуцировать электромагнитные токи, свойства, открытого лишь Звездочетовым, и продолжали считать психическое содержание человека не вполне реальной и измеримой величиной и чем-то мистическим и неправдоподобным, одним словом, «душою».

Вот эта-то мистика и не позволяла им справиться со своей задачей, на три четверти ими уже разрешенной. Знай они, что не они вытесняют «душу» из себя, а просто их протоплазма перестает ее вырабатывать, они давно стали бы богами.

С целью детально изучить всю схему передачи протоплазмой ее электромагнитной силы по нервным путям и образования из них того поля электромагнитного напряжения, что Звездочетов решил для большей ясности и краткости называть «душой» в реально научном смысле этого слова, конечно, он соорудил у себя в кабинете грандиозный фантом особенного назначения, на котором он и изучал психическую работу мозгового аппарата, т. е. «душу» человека. Вдоль всего потолка был протянут электричес-

кий кабель, вмещавший в себе ровно столько бесчисленных, микроскопической толщины в диаметре, проводов, сколько нервных волокон имеется в спинном мозгу человека. Все эти волокна-провода выходили, как у животного выходят из мозга, из гигантского клубка проволоки, изображавшего в микроскопических деталях этот самый мозг, беря из пего свое начало и свешивались с потолка целым дождем паутины, точно копируя всю периферическую нервную систему вплоть до ее пуговчатых окончаний в клетках тканей различных органов. Провода встречались, сплетались, снова встречались, расходились, одним словом, глядя на эту страшную паутину, вначале ничего определенного нельзя было понять и осмыслить.

Но профессор знал каждый провод-волокно своего фантома и, включая электрический ток в спираль, изображавшую головной мозг, на основании записей каких-то измерительных аппаратов, в которых включался то тот, то другой изучаемый нерв, с математической точностью умел уже определить местонахождение у человека, «души», ее напряженность, потенциальную силу, даже ее окраску, запах и вкус.

Работы ученого близились к концу и одно только обстоятельство еще беспокоило Звездочетова.

Он — худел.

Худел безумно, со все возрастающей прогрессией, безудержно и неостановимо.

Рядом с его письменным столом, слева, почти у самого окна, стояли весы и он ежедневно взвешивался на них.

Правда, он не мог не похудеть. Тело ему мешало в его опытах, было только обременительной оболочкой, чем тоньше и незначительнее которая была бы, тем это было бы только удобнее для пего. Чем немогшее становилось его тело, тем значительнее вырастало значение его духа, т. е. мыслительно-волевой силы сознания.

«Йоги тоже все были кожа да кости, и некоторые из них доводили себя даже до полной прозрачности мышечных покровов», — успокаивал себя профессор, но отлично понимал, что то были йоги, а то он, профессор Звездоче-

тов, и что всему, конечно, должна быть определенная граница.

За последние десять дней он каждым утром записывал свой вес, каждый раз проглядывая столбик записей, с сомнением качая головой:

«Выдержу ли я?»

Первая запись говорила, что он весил три пуда тридцать восемь фунтов, что было уже очень немного, а последняя, сделанная вчера утром, указывала уже почти роковой вес: два пуда тридцать девять фунтов. Надо было торопиться. Надо было успеть.

Минувшей ночью ему удалось, наконец, опыт проникновения сквозь материальные оболочки.

Ему удалось проникнуть волевым сознанием своего «я» в закрытую шкатулку, причем, когда он пришел в себя, то довольно ясно и отчетливо помнил о времени своего пребывания в ней, нумеральные свойства и мировое значение этой шкатулки в природе, и мог с поразительной точностью перечислить все находившиеся в ней вещи, вплоть до заржавленной и сломанной вставочки от самопишущего пера.

Он мог даже сказать, что под ржавчиной была сокрыта надпись, очевидно фирмы, в виде клейма следующей формы:



и номера под ним: 4.078 — А. Р.

«День, два еще потерпеть и я сумею приступить уже к опытам», — думал профессор, с трудом взбираясь дрожащими в коленях ногами на подножку весов. Сегодняшнего веса своего он еще не знал.

«Осталось только испытать аппарат», — продолжал, уже стоя на весах, размышлять профессор.

А удивительный аппарат его, аппарат, который должен был раз и навсегда уничтожить глупую идею о «душе» трусливого человека, по свойственной ему трусости всегда предпочитающего материальной правде — идеалистическую ложь, — был уже готов и окончательно собран.

По внешнему своему виду он напоминал обыкновенный ярмарочный калейдоскоп, в котором ловкие предприниматели за пятак показывают гимназистам выпускного класса французские порнографии «с натуры», девицам за ту же цену — Лермонтовского демона в объятиях грудастой еврейки, изображающей Тамару, купцам — волжские виды, а лицам духовного звания — гроб господень во граде Иерусалиме. Это был продолговатый, закрытый со всех сторон ящик, на одной из поверхностей которого были вырезаны два круглых отверстия для глаз, в которых были вправлены оптические окуляры с особой системой двояко выпуклых и вогнутых чечевиц и линз, имеющих особые свойства преломления и фокусного собирания лучей в одном месте.

Задняя стенка аппарата изнутри была вымазана радиоактивным веществом, перерабатывавшим эти лучи в электромагнитные колебания и отбрасывавшим их в особый металлический консерватор, находившийся в центре аппарата, очень сложного устройства.

Человек или животное, приближая к этому аппарату свои глаза и излучая из них в окуляры лучи особых свойств, постепенно, благодаря переработке их задней стенкой аппарата в лучи электромагнитного свойства, должны были, на основании притягивающей силы этих переработанных лучей, начать излучать из своих глаз в аппарат заключенное в электромагнитное напряжение своего организма, т. е. волевое сознание своего «я», иначе свою «душу», которая непосредственно воспринималась консерватором и автоматически замыкалась в нем. Аппарат начинал работать, т. е. радиоактивная пластинка действовала, когда поворачивался штепсель справа. Поворотом штепселя слева профессор открывал конденсатор и в любое время, по своему желанию, мог вернуть обратно подвергавшемуся опыту субъекту

его «душу», высосанную у него целиком удивительным аппаратом.

«Да, — продолжали течь мысли профессора все по тому же направлению, — глаза человека страшны. Они вечно излучают из себя токи импульсативного напряжения, т. е. постоянно расходуют “душу” человека. В сущности говоря, и мы способны поглощать “душу” другого, как мой аппарат — мы не умеем только задерживать эту “душу” чужого в себе. Когда мы говорим: “я видал это по его глазам” или “он слушался одного моего взгляда”, — мы, в сущности говоря, в грубых синонимах проводим принцип моего аппарата. Глядя в глаза другому, мы всегда воспринимаем частичку его мысленной воли и отдаем ему частичку своей в обмен. Единицу за единицу. Глаза человека излучают все эмоциональные движения его внутреннего содержания: гнев, боль, любовь, радость, тоску и т. д., а это в совокупности и есть не что иное, как его пресловутая “душа”.

Глаза мертвеца белесы и подернуты непроницаемой пленкой, имеющейся анатомически и на живых глазах, но невидимой, благодаря индуктивным излучениям, идущим сквозь нее.

Глаза мертвеца только потому и страшны, что они мертвы, что в них ни ч е г о не видно...О, если только опыт, который необходимо будет начать с какого-нибудь животного, увенчается успехом, тогда — ясно: наша «душа» — не что иное как самая обыкновенная материя! О, как поздравляет тогда, разом, все человечество от осознания этой истины!»

Профессор мечтательно закрыл глаза, полный предчувствия приближающегося торжества Природы и Человека и, совершенно бессознательно, не вникая даже в страшный смысл той цифры, что записывал, записал на рядом с весами лежащем кусочке бумаги, под длинным столбиком предыдущих записей, свой сегодняшний вес:

— Два пуда тридцать один фунт.

III

Ольга Модестовна, опечаленная и обеспокоенная физическим и душевным состоянием своего мужа, решила съездить к своим родителям на дачу, посоветоваться, что ей предпринять с мужем и как заставить его бросить все свои занятия и действительно предаться полному ничегонеделанию и отдыху.

Она ясно сознавала, что Николай Иванович вылез из огня, но, к сожалению, лишь для того только, чтобы влезть в полымя.

Полной хозяйкой в доме она оставила за себя Софью Николаевну, с которой очень сошлась за последнее время.

— За все я вам отвечаю, — сказала Софья Николаевна на прощание Ольге Модестовне, — я не могу отвечать только за одно: за состояние здоровья вашего мужа. Я вижу, что ему плохо, но знаю, что если мы захотим помешать ему, то будет еще хуже...

Софья Николаевна, несмотря на все свое горячее желание принять участие в опытах профессора, после первой неудачи, постигшей их в самом начале работы, стала как-то с большей тревогой относиться к начинаниям Звездочева, временами забывая даже об этих опытах и, переставая интересоваться духом профессора, начинала проявлять почти исключительный интерес к материальным оболочкам его, болея и скорбя за них, видя как быстро и неудержимо они таяли...

Но она ведь была женщиной, любящей женщиной, и это было, в конце концов, так понятно.

Однако профессора, чувствовавшего это душевное состояние Софьи Николаевны, корбило и раздражало.

«Опять непонимание, опять эта преграда, что всегда отделяла его от других людей и вообще отделяет людей друг от друга», — думал он, отлично понимая, что виною всему была любовь, эта глупая, слепая сила, всегда основанная на взаимном непонимании и недоговоренности.

«Любовь это конечное зло и рано или поздно оно будет изжито подрастающим человечеством, которое никогда не допустит проникновения в свою жизнь тех двигателей, что толкают его не вперед, а назад, не в гору, а в пропасть! Любовь родит в человеке жестокость и ненависть. Кто много любил, только тот много и ненавидел. А вот люди этого не понимают. Они считают тех, кто не любил, злыми. Какая грубая ошибка так думать!»

Однако профессор избегал подолгу останавливаться на подобных вопросах, чтобы не вызвать в себе движений гнева или раздражения, т. е. эмоций, своею силой способных помешать сосредоточению его мысленных сил на определенной идее.

Он должен был быть по возможности объективным.

Ничто субъективное не должно было уже проявляться в нем.

Отказ от него — было первым условием легкого достижения экстаза.

В этот день он позвал к себе Софью Николаевну, запер за нею, как всегда, двери, усадив ее на диван, сел рядом с нею и, глядя прямо перед собою страшным взглядом слишком много выражавших глаз, чтобы выразить что-либо определенное, а потому казавшихся пустыми и мертвыми, спросил, не поворачивая головы, и не меняя позы за все время разговора:

— Вы готовы к жертве?

Софья Николаевна наклонила голову, сбоку взглянула на изнуренное, исхудалое лицо профессора и ей захотелось расплакаться.

— Пока что жертвуете один вы, — сказала она, — а я принуждена только созерцать это. Когда вы захотите поменять роли — я сочту свою миссию, здесь на земле, выполненной.

Профессор улыбнулся.

— Вы мне напоминаете больного, умоляющего лечащего его врача не умирать, — сказал он. — Что вы знаете о своей миссии?

— Ничего пока.

— «Душа» живет только раз, — сказал Звездочетов и помолчал немного. — Есть Единое, дающее Многое. Наша «душа» есть комбинация психических элементов, только раз в жизни повторяющаяся. После смерти человека, т. е. распадаения один раз существовавшей в данной форме комбинации химических элементов, психические элементы распадаются аналогично своим химическим собратьям. Никогда вторично не живет материя, следовательно, новая материя, т. е. новая комбинация ее, не может уже создать ранее существовавшей «души». Ибо «душу» создает материя.

Смерть человека — это его полный конец. Тела и «души». Темнота космической ночи. Мрак могилы. Ничто. Тожества повторяемости форм в природе не наблюдается. Все течет. Все меняется. Неизменен лишь Элемент, как материя и Логос, как заражающий принцип волевого сознания. Что можете вы знать после этого о своей миссии?

«А если это заблуждение?», — подумала Софья Николаевна.

— Надо мириться и с заблуждениями, — прямо отгадывая ее мысли, сказал профессор. — Иначе не познается сама Истина.

— Ах, что есть Истина? — с болью в голосе, может быть, такой же страстной и сильной, с которой воскликнул эту фразу Пилат две тысячи лет тому назад, бессознательно воскликнула Софья Николаевна.

— Это молчание, — ответил профессор. — Конец, совпадающий с началом. Чудо моего сна — это жизнь. Чудо моего пробуждения — это смерть. Чудо того и другого — Истина. Вырытая могила не трещина, в которую проваливается наша жизнь. Это колыбель смерти, в которой познается неистощимость жизни. Тот не умер, кто не родился. Тот не родился, кто не познал смерти. А познается смерть тем, что мы приобретаем во время нашей жизни.

— Мне страшно, — сказала Софья Николаевна.

— Вам это только еще непонятно, — ответил профессор. — Но настанет миг, когда вы поймете все это так же

полно, как уже понял это я. Но я сам понял это только вчера.

— А моя жертва? — спросила Софья Николаевна. — В чем же будет она заключаться? — В ее голосе опять прозвучала глубокая боль и сомнение.

— Вы помните, мой друг, наш первый опыт? Он не удался, как вам известно. Вы потеряли веру после него, я только укрепился в ней. Результаты нашего первого опыта, как вы помните, получились чисто отвлеченные. Произошло не отделение вашей «души» от тела, а просто ваша более слабая воля легко подчинилась моей воле, более развитой и сильной, т. е. получился обыкновенный гипноз. Я не сумел проникнуть сквозь ваши оболочки в вас, потому что из ваших оболочек не была изъята «душа». А двум «душам» в одной оболочке тесно. Теперь положение вещей изменилось. Я — во всеоружии.

Профессор подробно, сжато и даже для Софьи Николаевны достаточно ясно, объяснил свои достижения и свойства изобретенного им аппарата поглощения «души».

— Я решил завтра же испытать действие его силы, сперва над собакой... — закончил Звездочетов свои объяснения.

— Зачем над собакой? Ведь я же здесь? — удивилась Софья Николаевна.

— Это было бы бесцельно и безрассудно с моей стороны начинать опыты с вас, — сказал Звездочетов. — Вы забыли то, что я вам только что говорил. Я не вполне убежден, не повредит ли выход из оболочек тела живого существа его «души», которая есть, как вам уже известно, его внутренний электромагнитный Тонус, механически связанный с центральной нервной системой и перерабатывающийся в ней в волевое сознание восприятий впечатлений внешнего мира, этому живому существу, в смысле дальнейшего налаживания контакта между «душой» и мозгом. Я боюсь оборвать кой-какие, чисто физиологические, связи одного с другим... не забудьте, что и так вы будете первым человеком, который подвергнется подобному опыту. Удачный опыт с собакой — это процент, но не гарантия успеха. Вы можете

пострадать... вот в этом-то и будет заключаться ваша жертва. В риске... Но уверяю вас, что жертва не мотивированная, не знающая, за что и кому она приносится, становится не жертвой, а глупостью, ее приносящий — не жрецом, а убийцей, а принимающий ее — не богом, а истуканом.

«Нет, нет, — подумала Софья Николаевна, — ты не понимаешь меня, мой любимый! Отдать свою жизнь — это самая пустая жертва! Я ежедневно несу тебе на твой холодный алтарь гораздо более ценную жертву, — мое молчание».

— Ну, а что будет, если контакт не восстановится? — без всякого интереса в голосе спросила она.

— Сумасшествие. Оно и есть потеря контакта между центром, перерабатывающим электромагнитное напряжение в сознание, и самим электромагнитным напряжением индивидуума.

— И вы боитесь сделать меня сумасшедшей? — спросила Софья Николаевна. — Да разве я уже не сошла с ума? Да разве то, что происходит во мне, не безумнее всякого безумия?

Профессор впервые, за все время разговора, повернул в сторону Софьи Николаевны свою голову, все еще держа ее опущенной. Он сделал вид, что не расслышал ее последнего вопроса.

— Пока что, — сказал он, — вы должны оказать мне простую услугу. Заманите ко мне Мульфу так, чтобы Панов не заметил этого. Мульфа сопровождает его всегда в больницу. Это легко сделать. Если мой опыт не удастся и собака погибнет, я сумею сокрыть следы преступления... Если же все обойдется благополучно — вы отнесете ее обратно к нему. Вы беретесь это сделать?

— Да.

— Благодарю вас. Завтра рано утром. Надо торопиться. Скоро должна вернуться жена и она может помешать нам. До ее приезда необходимо сделать еще многое...

Профессор поднял, наконец, голову и прямо взглянул в глаза Софьи Николаевны.

Ее глаза встретились с его взглядом и вдруг Софья Николаевна почувствовала, что холодный, липкий пот какого-то огромного ужаса, необъятного, может быть, космического кошмара, проступил изо всех пор ее заледеневшего тела.

Волосы ее, как ей показалось, разом поседели и стали дыбом.

Полная неизведанной еще, невероятной, нечеловеческой тоски и духовного томления, какого-то неописуемого, темного, мятущегося и исполински огромного чувства, она подняла свои руки выше головы и, широко раскрыв глаза, и не будучи в состоянии оторвать своего прилипшего взгляда от этих безумных впадин, устремленных на нее, впадин, которые гораздо полнее и страшнее, чем впадины мертвецов, выражали весь космический ужас ни чего, дико и пронзительно взвизгнула, тотчас же переходя на однотонный, высокий, звериный вой.

Муха, попавшая на клейкую бумагу и осознавшая весь ужас произошедшего с ней, вероятно, испытывает в миниютюре то, что испытывала в эту минуту Софья Николаевна.

Профессор положил ей руку на голову и улыбнулся, плотно закрыв свои глаза.

Софья Николаевна мгновенно утихла.

— В сознании этого и будет жертва, — сказал Звездочетов. — Но вы, мой друг, еще не совсем готовы к ней.

IV

Стояла поздняя весна, но по утрам еще было свежо.

Черемуха только начинала расцветать и даже пыльный и зловонный город, ранними утрами, когда пыль под ногами миллионов прохожих еще не успевала столбом подняться кверху, а вонь из еще не открытых окон человеческих логовищ ворваться в атмосферу и заполнить ее, был насквозь пропитан одновременно сильным и нежным ароматом ее.

Этот аромат бодрил и неведомыми путями вливал в кровь новую энергию, почему-то напоминая о белых кителях и туго сплетенных девических косах.

Фабричные гудки давно уже ревели по ту сторону синей реки и из маленьких улочек и переулков широкою, уверенной волной вливались на взгорбленные мосты пестрые толпы спешащих к своим горнилицам рабочих.

И всматривающемуся в этот поток никак нельзя было отличить одно лицо от другого — все лица были одинаковы и у всех глубокими бороздами загарных морщин было высечено единое значение этих людей — Труд.

Неподалеку, на маленькой церкви-часовенке, таял медно и жалобно сонный колокол, жалуясь, что его так плохо слышно в этом гудящем потоке рабочей волны. Сонному воображению рисовался старенький поп с седыми косичками старческого одиночества, промасленными и давно нечесанными, одна нога которого бессильно дрожала над страшной пропастью могилы, а другая упрямо шаркала по ступеням ветхого алтаря неведомого бога в старой, полутемной и пустой церквушке.

Только одна-единственная старушка-нищая, забившись в угол, крестилась частыми крестиками, совершенно не понимая значения своих жестов — и пугливо прощалась с чем-то, из чего она чувствовала, что уходит, вместе со слабым звоном и стареньким попом, уходит на покой торжественной вечности, в сыром, ограниченном мертвыми стенами мраке, в коем провела свою жизнь, не нашедшая свое-

го призвания и не понявшая своего назначения в ней и не могущая и сейчас никак понять, что она, эта жизнь, продолжала быть все тут же, рядом с нею, за цветными, запыленными и засиженными мухами стеклами, за спиною седенького попа, сейчас же за алтарем, там, на вздыбивших свои упругие сваи, гудящих мостах, через мощную спину которых текла она, вливаясь в горнище труда, как вливали синие волны реки, протекавшей под него, свою волнующую глубину в безграничную мощь необъятного океана.

Софья Николаевна с раннего утра заняла свою позицию. Здесь, на углу этих двух улиц, ей думалось, легче всего будет поймать Мульфу в тот момент, когда коляска Панова застрянет в людном водовороте и скроется на мгновение от Софьи Николаевны в его пучинах. Тогда... Мульфа всегда следовала за коляской «пешком», как говорил ее хозяин, — это была ее утренняя прогулка.

Софья Николаевна была задумчива и рассеянна.

Думать о чем-нибудь одном, сосредоточить свои мысли на чем-нибудь определенном ей не удавалось.

Весенний воздух раннего утра немного кружил ей голову и возбуждал ее, пробуждая заглушаемые желания и обураваемые страсти.

Ее задевали, толкали, наступали на ноги, с удивлением оглядывались на нее, но она как будто не замечала никого и ничего.

Жизнь текла перед ней, помимо нее, только внешне соприкасаясь с ней.

Мимо... мимо...

Точно так же, как скользил мимо гигантских мостов и гудящей толпы слабый звон колокола заброшенной часовой, реально существуя, но не соприкасаясь ни с чем.

На повороте кто-то крикнул и разом вынырнула из-за угла, мягко качнувшись на рессорах, щеголеватая коляска доктора Панова.

Кучер попридержал лошадей, гаркнул еще раз и внезапно коляска стала, будучи удерживаема опустившимися крупами лошадей.

«А что, если он заметит меня?»

Ах, поскорей бы дали коляске дорогу. Поскорей бы она очутилась на мосту, спиной к Софье Николаевне, тогда будет безопаснее... — «Но где же Мульфа? Ее нет?!».

Кто-то ласково взвизгнул рядом и высоко подскочил в воздухе черный продолговатый комок с двумя огромными вывернутыми ушами.

— Мульфочка... Мульфа!

Софья Николаевна, не спуская глаз с коляски, нагнулась и, схватив Мульфю поперек туловища, подняла ее, прижала к своей груди и прикрыла наброшенным на плечи платком.

Панов искал что-то глазами по сторонам.

Какой-то пожилой рабочий, задержавшийся возле Софьи Николаевны, мешавшей ему пройти, добродушно сказал:

— Ну, красатушка, Муфту-то свою нашла, так дай, што ли, дорогу.

Другой высокий, долговязый парень облизнулся, прищелкнул языком и отпустил комплимент:

— Ну и жисть же этой Мухте самой! Гляди, робя, кудую она прячет ее: на самые на груди... Э-эх! Кабы нам так!

— Ну ты, пес, — огрызнулся кто-то. — Пошевеливайся! Не с работы небось!

— Какой пес? — обиделся парень... — Кабы пес был, так и молчал бы, а вот именно, што не пес! Только псам така лафетна жисть и выпала. А нам с нашим и вашим рылом и свинья хороша...

Его оттерли в сторону, закружили в водовороте и унесли дальше.

Шли все новые, новые и новые.

«Слава богу, — вздохнула Софья Николаевна, — миновало. Ах, как я боялась, чтобы меня за воровку собак не признали и Мульфочка, спасибо, не подвела — узнала»...

Мульфю было тепло на мягкой груди и она, зарыв свою голову под мышкой у Софьи Николаевны, с восторгом двигая влажным носиком, тихо повизгивала от переполнившего все ее существо внутреннего счастья.

Софья Николаевна еще раз взглянула на Панова, коляска как раз в это время трогалась с места, нет, он ничего не видал, и быстро скользнула в самую гущу толпы, стараясь пробраться против течения в боковую улочку.

И, как люди не понимали друг друга, так Мульфа не могла понять людей.

Ей было тепло и она была счастлива.

Жизнь скользила мимо нее.

Но человеку, несшему ее, не было никакого дела до ее собачьего счастья — все его существо было полно своей собственной, не только не соприкасавшейся с радостью Мульфы, радостью, но даже диаметрально противоположной ей.

«Ах, как все просто и удачно вышло, — думала Софья Николаевна, — а я так волновалась и не верила в удачу. Я поймала тебя, Мульфа, я поймала тебя, и он будет доволен, он будет меня благодарить, Мульфа».

И ей показалось, что Мульфа понимает ее, когда бедный пес, услышав свое имя, произнесенное восторженным шепотом, зарычал в ответ деликатно и ласково.

А жизнь текла, не соприкасаясь с ними, так, сама по себе, текла дальше, эта страшная жизнь. Сама по себе.

Мимо... мимо... мимо...

Профессор накормил Мульфу булкой, размоченной в молоке, выпроводил Софью Николаевну из кабинета и остался с собакой один.

Вначале, в присутствии хорошо знакомой ей женщины, Мульфа чувствовала себя превосходно, — совсем как дома. Она с любопытством обежала несколько раз комнату, остановилась перед клубком, изображавшим мозг, и долго с любопытством разглядывала его.

Потом, убедившись, что он ничем скверным не пахнет, она отошла на шаг назад и, вскидывая забавно всю свою морду кверху, твякнула сочно и отрывисто несколько раз.

После кормежки она совсем развеселела и, забравшись на диван, свернулась клубочком, засунула свой холодный носик под хвост и задремала.

Но, теперь, оставшись в комнате одна, взаперти, с мало-знакомым ей человеком, в котором она своим собачьим нюхом не могла уловить никакого характерного запаха, она заволновалась и забеспокоилась.

Внезапно вся вздрогнув, подняла голову, свесила книзу свое правое ухо и вдруг, все еще лежа клубочком на диване, зашумела, почти завывала жалобным песьим воем, в котором было много человеческого: тоски и беспокойного предчувствия.

Профессор, бледный, с трудом уже державшийся на ногах, возился, делая последние приготовления, над своим аппаратом волевого поглощения, у письменного стола.

Страшная минута наступала.

Мульфа что-то сообразила, быстро вскочила с дивана и бросилась к двери.

Став на задние лапки, она передними начала скрести дверь, вытягивая все свое длинное тело, и жалобно повизгивала, желая дать понять страшному человеку, что ей необходимо выйти.

Но дверь была заперта, а человек не обращал на нее никакого внимания.

Мульфа повернула свою голову в сторону профессора и столько эмоциональной силы было в этом умоляющем взгляде больших карих глаз ее, что профессор невольно оторвал свой взор от аппарата и взглянул на Мульффу.

Большая, мутно-желтая слеза скатилась с правого глаза Мульффы и запуталась в черной шерсти ее щеки.

Люди не понимали ее.

Она хотела выйти.

Но, как только глаза ее встретились с глазами профессора, с Мульфой произошло нечто странное и необъяснимое.

Почти судорожно задрал морду кверху, так, как задирают ее собаки на пустую, холодную поверхность луны, Мульфа завывала безумным и протяжно вибрирующим воем.

Потом, как бы отгоняя от себя грядущий ужас небытия, она встряхнула головой с такой силой, что длинные уши ее хлопнули друг о друга над затылком и, отскочив от дверей в середину комнаты, завертелась, как одержимая, на одном месте.

Звездочетов быстро отошел от аппарата и, не спуская своих глаз с собаки, но не будучи в состоянии поймать ее взгляда, подошел к ней.

Мульфа завизжала и метнулась в сторону.

Она бросалась из угла в угол, как бешеная, повизгивая совсем не собачьим голосом и трясясь всем телом, как в лихорадке.

Профессор, теряя свои последние силы, тяжело дыша и опрокидывая по дороге стулья, метался вслед за нею по комнате в надежде как-нибудь поймать ее.

Наконец ему удалось загнать Мульффу в темный угол комнаты, справа от клубка, изображавшего мозг, в узкую щель между книжным шкафом и стеною.

Мульфа, не переставая дрожать, забилась в этот угол и внезапно поняла всем своим существом, что больше ей из этого угла уже не выбраться наружу.

Сердце ее галопировало в груди, носик совершенно высох и стал горячим, глаза подернулись пленкой загноившихся слез.

На нее надвигался неизвестный, неоформленный космический ужас.

Понять значение этого ужаса Мульфа не могла. Она только инстинктом угадывала небывалую опасность, которой должна была подвергнуться.

А страшный человек, со взглядом таинственно холодной и пустой лунной равнины, приближался...

Профессор уже был настолько близко, что его протянутая рука могла бы достать Мульффу.

Ее черное тело слилось с чернотой угла и профессор мог только смутно различить его контуры.

Он видел только пару то краснеющих, то фосфорически зеленеющих огромных, стеклянных Мульфиных глаз, отсвечивавших все ее волевое сознание на приближавшегося врага.

То тухли уголья Мульфиных глаз, то вспыхивали снова.

Прямо в центр этих огней ввинчивал профессор свой взор.

Некоторое время простояв неподвижно, он наконец протянул свою правую руку и быстро засунул ее в щель.

Тогда Мульфа решилась.

Собирая последние остатки воли, она некрасиво оскалила белые, мелкие, острые зубки, собирая кожу губ и щек в ряд продольных складочек и напоминая собою в эту минуту белый череп профессора на его письменном столе, которому никогда не надоедало жаловаться на вечный холод смерти.

Потом взвизгнула еще раз и, взвившись кверху, как пружина, рванулась вперед, впиваясь всеми передними зубами в мышцы профессорской руки, глубоко вдавливая их в его дряблое мясо и достигая ими почти самых костей Звездочетова.

Профессор даже не вскрикнул. Никакой боли он не почувствовал. Проступившая из точечных ранок кровь его была светла и казалась разбавленной водой. Он не торопясь вытащил из щели свою руку вместе с повисшей над нею Мульфой.

Не отрывая зубов Мульфы от своей руки, он левой свободной кистью взял ее череп в свои длинные пальцы и повернул ее так, чтобы глаза животного встретились с его глазами на близком расстоянии.

И как только, словно острие ланцета, взгляд профессора прорезал налитые кровью глаза Мульфы, проникая им куда-то в таинственные недра ее существа, собака тяжело, совсем как человек, вздохнула, выпустила руку профессора из своей пасти и, поняв, что это и есть смерть, безвольно склонила набок свою заболтавшуюся из стороны в сторону голову.

Тогда профессор быстро поднес ее к приготовленному аппарату, приставил ее глаза к окулярам и быстро повернул штепсель справа.

Все еще вздрагивавшее тельце Мульфы вытянулось мгновенно в длину и, отдавая рукав профессора непроизвольно выпущенной мочой, замерло, сразу похолодев и прекратив малейшие движения в мышцах.

«Душа» Мульфы была в аппарате.

Тело Мульфы было лишено ее, сохраняя, однако, течение биологических процессов в тканях и органах и во всей опустевшей форме.

Профессор отодвинул аппарат в сторону, положил тело Мульфы на диван и сел на корточки против него. Нажав себе обеими руками то место, где находится солнечное сплетение нервов, профессор откинул голову назад и стал белым, как покров только что выпавшего снега.

Он совершал самую.

С тяжелым стоном, шепча приказания вернуться в срок обратно, он, упав прямо лицом на ковер, разостланный перед диваном, освободил из своего тела свое волевое сознание, проникая им в тело обездушенной Мульфы . . .

.

Ровно через полчаса, как того и хотел профессор, длительность самой прекратилась и Звездочетов очнулся.

Сознание его вернулось к нему обратно.

Он поднялся с пола, оглянулся с недоумением вокруг, почему-то с радостью посмотрел на себя сверху вниз, убеждаясь в реальной протяжимости своего роста, кому-то горько улыбнулся и подошел к лежавшей все в той же позе, не подававшей никаких признаков жизни Мульфе.

Взяв ее на руки, он снова поднес ее к своему аппарату, вновь приложил окуляры к ее мертвым, стеклянным глазам и, с торжествующей медлительностью, повернул штепсель слева.

Мульфа вздрогнула всем телом, получая свою «душу» обратно, взвизгнула, бешеным движением вырвалась из рук профессора и с громким лаем бросилась к дверям.

На этот раз профессор не стал ее больше задерживать. Он отпер двери, выпустил Мульфу, снова за нею закрыл их на ключ и, чувствуя необычайную слабость и разбитость во всем своем теле, с удовлетворением растянулся на диване, мгновенно заснув крепким, глубоким и нормальным сном очень усталого человека.

VI

Софью Николаевну он позвал к себе только поздно вечером.

Она вошла, как всегда спокойная и холодная, только руки свои крепко сжимала в кулаки, чтобы Звездочетов не заметил их дрожания.

— Как Мульфа? — спросил профессор.

Отвечая, как о больном, Софья Николаевна сказала:

— Самочувствие нормальное. Аппетит хороший. Перемен никаких не заметно.

— Хорошо. Отнесите ее сегодня к Панову обратно.

— Слушаюсь.

— Мой опыт удался, — сказал профессор, глядя в окно на проходящего мимо газетчика.

— Вы довольны?

— Я на пути к познанию бога. Сегодня ночью я соберусь с мыслями и занесу в дневник те, хотя и смутные, но все же сохранившиеся у меня воспоминания от того времени, когда я был собакой.

Софья Николаевна вздрогнула.

— От вашей жены есть телеграмма, — сказала она. — Ольга Модестовна приезжает послезавтра вечером.

— А!.. Это очень важно.

И вдруг, отрывая свой взгляд от окна, профессор сухо и коротко отрезал.

— Сейчас мимо окна проходил газетчик... мимо... впрочем, это не то. Завтра утром будьте готовы к жертве. Завтра утром — опыт над вами...

Софья Николаевна до крови укусила себе палец и ответила, переводя дыхание, спокойно и бесстрастно:

— Хорошо. Я буду готова.

VII

Опыт с Софьей Николаевной блестяще удался.

Технически он был обставлен теми же подробностями, что и предыдущий опыт, по воспоминания, которые сохранил в себе профессор во время своего перевоплощения в молодую женщину, были значительно яснее и полнее.

«С каждым разом это будет все улучшаться и улучшаться», — восторженно думал Звездочетов.

Софья Николаевна, в свою очередь, несколько от опыта не пострадала.

Вначале испытывая почти разорвавший ее сердце ужас и отчаяние, она, благодаря нескольким шприцам морфия, втайне от профессора впрыснутого, быстро овладела собой и впала в полную апатию.

Из того времени, когда она лежала одной своей оболочкой на диване, лишенная «души», высосанной у нее аппаратом, она никаких воспоминаний не сохранила.

Эти полчаса были вычеркнуты из реальной длительности ее жизни, ибо профессор остановил для нее время.

Момент приближения своих глаз к окулярам аппарата для отдачи «души» и для приема ее обратно совпали для нее.

Последнее, что она помнила — это поворот штепселя справа, первое, что вновь начала помнить — это руку профессора, державшую уже повернутый штепсель слева.

Остальное — была ночь. Время стояло. «Души» не было. Слегка болела только голова и тошнило, но это можно было приписать скорее действию морфия, чем дурным последствиям самого опыта.

Профессор был в хорошем, давно его не посещавшем расположении духа, невзирая даже на то обстоятельство, что сегодняшний вес его был на целых восемь фунтов еще ниже предыдущего.

Это почти не смущало его больше.

«В конце концов, — думал он, — все это наживное. В любую минуту железо и мышьяк вернут мне мое мясо, в

котором как раз сейчас я меньше всего нуждаюсь».

Вечером должна была приехать жена и к ее приезду дневник должен был быть законченным.

Иначе — она помешает, конечно, в его работе, ужаснувшись его внешностью, а мысли могут исчезнуть и потерять свою эластичность и выпуклость.

Надо торопиться. Может быть, даже, уступая просьбам жены, придется на время закончить первую часть своих опытов, чтобы никто не помешал в дальнейшем начать вторую...

Как всегда, запершись у себя в кабинете, он быстро заносил в свой дневник свои переживания, вернее, даже не свои, а психологическую сущность и способы восприятия внешнего мира не своим, а другими «я», преломленные не в Субъективе, а в Объективе его сознания, других живых существ — собаки Мульфы и сестры Софьи Николаевны.

ЧАСТЬ III

I

Ольга Модестовна вернулась с дачи в бодром и веселом настроении.

Она хорошо отдохнула, поправилась и даже успела за эти несколько дней немного пополнеть, что, впрочем, несколько не портило ее фигуры.

Слезы, с которыми ее встретила побледневшая и осунувшаяся Софья Николаевна, скорее как диссонанс к ее настроению, чем как тревога за мужа, неприятно покорибли ее.

— Ну, что у вас слышно опять такое, как муж, говорите бога ради скорее, — быстро сыпала она словами, снимая в передней перчатки и бессознательно окидывая свою фигуру в зеркале. «Он останется доволен мною», — подумала она и поправила складку блузки на груди.

— Вашему мужу, — начала Софья Николаевна тихим голосом, но была тотчас же снова перебита Ольгой Модестовной:

— Ах, вот живут же другие люди весело и здорово в других местах! Это только у нас в доме все не как у людей! Наука! Наука! Всему, однако, есть границы. Но я этому поставлю конец! Хватит! Мои родители уполномочили меня увести Николая Ивановича к ним. С ними он иначе поговорит, чем со мной, уверяю вас! Никакие разговоры не помогут. На этой же неделе я увожу его...

— Вы не дали мне договорить, Ольга Модестовна, — удалось наконец сказать Софье Николаевне. — Вашему мужу плохо... очень плохо...

— Тем паче. Это только ускорит наш отъезд!

— Я сомневаюсь, сможет ли профессор уже уехать куда-нибудь, — еще тише прежнего сказала Софья Николаевна.

Ольга Модестовна не поняла.

Однако, ее сердце все же инстинктивно сжалось от этих слов так сильно, что первый же сделанный ею после этого вздох оказался настолько болезненным, что она вскрикнула даже.

— Ах!.. Вот видите, я тоже страдаю сердцем... но... я не поняла вас... Что вы хотели сказать этим... Как это он не сможет? Почему?

— Он очень плох.

Ольга Модестовна опустила на стоявший рядом с зеркалом стул и закрыла лицо руками.

— А... ах!

— Не огорчайтесь преждевременно, — тронула ее за руку Софья Николаевна, — может быть, я и преувеличиваю тут что-нибудь... — нужен врач...я не знаю... профессор не совсем... — дальше, однако, она уже не могла говорить. Закрыла лицо руками так же, как его закрыла Ольга Модестовна, и заплакала.

Первой пришла в себя Ольга Модестовна.

Она подняла голову и спросила:

— Но что же у вас произошло, в сущности?

— Не знаю, я ничего не знаю, — захлебываясь и теряя всю свою выдержку, забормотала Софья Николаевна. — Я даже ничего не понимаю. Он никого не пускал к себе в кабинет все это время, он над чем-то работал, только не над книгой, и худел худел, худел!

— Отчего же вы не позвали врача?

— Я не смела.

— Отчего же не послали мне телеграмму?

— Я не смела.

— Пойдем!

Ольга Модестовна решительно встала и, взяв плакавшую Софью Николаевну за руку, как послушный ребенок следовавшую за нею, двинулась вперед.

— Вы не сердитесь на меня, Ольга Модестовна?

— Конечно, нет. Если я, жена Николая Ивановича, не была все это время, за исключением одного-двух раз, допущена даже им к себе, то что же могли тут вы-то сделать?

Они подошли к дверям и прислушались. В кабинете было тихо.

И вдруг они услышали его голос, слабый голос, вырвавшийся как бы со дна бездонного колодца:

— Войдите. Открыто. Я вас вижу сквозь дверь.

Сердца обеих женщин рванулись в своем узкомместилище, но времени для колебаний не оставалось. Надо было войти.

Ольга Модестовна взялась за ручку, надавила ее и толкнула дверь.

Дверь открылась.

Как стояла она на пороге этой страшной комнаты, так и рухнула на колени, с бесконечной мольбой и любовной скорбью простирая руки по направлению к лежавшему на диване скелету.

Все, что угодно ожидала увидеть она — только не это, не это...

Где был он? Куда девался он, ее милый Николай, всегда занятый и суровый, но всегда так сильно, по-мужски любивший ее, свою Ольгу, свою жену, свою женщину...

На скелете, что лежал на его диване, на спине, заложив костяки страшных рук за голову, был одет рабочий костюм ее мужа, легко болтавшийся на этом мертвеце, и своим балаганно-запутывающим видом не гармонировал с по-настоящему страшным взглядом, устремленным на потолок, проникающим сквозь все видимое, взглядом огромных, ввалившихся глаз.

И только его, Колина, немного виноватая улыбка еще играла на обескровленных, тонких и белых губах, обнажая пожелтевшую эмаль давно нечищенных зубов.

— Коля, Коля, родной мой, любимый, да что это случилось с тобою, Коля?..

И, собирая все свои силы, чтобы сделать жене приятное, успокоить ее немного, ответил ей профессор Звездочетов, как когда-то давно уже раз отвечал ей, стараясь даже голосу своему придать некоторую певучесть и вибрацию:

— Со мною... ничего!...

Но усилие это вышло таким жалким и немощным, это последнее слово «ничего» бессознательно было произнесено профессором с такой выразительностью и экспрессией, что впервые, за всю свою жизнь, поняла, как, может быть, никто не понимал до нее, Ольга Модестовна всю страшную глубину и жуткое значение этого почти безумного слова.

С криком ужаса упала молодая женщина на пол, ударяясь головой о косяк двери и теряя сознание от ужаса и боли. Белые хлопья не то ваты, не то снега, не то самого космического *ничего* нежно и тепло обволокли ее тело и погрузили душу в желтое безвременье, распространяя кругом приторно-сладкий запах каких-то крепких духов . . .
.

Обморок длился недолго.

Придя в себя, с помощью Софьи Николаевны, Ольга Модестовна еще раз заглянула в кабинет и с удивлением убедилась, что профессор крепко спал.

Теперь, во сне, лицо его не было уже таким страшным, глаза были закрыты веками и даже легкий румянец проступил на его впалых щеках.

«Может быть, это действительно только переутомление», — попробовала она себя успокоить старым средством, но цели, на этот раз, не достигла.

Тоска и предчувствие мучили ее.

Она отлично понимала, что искать помощи здесь, у себя в доме, ей больше не приходится, что помощь должна придти откуда-то извне.

«Надо немедленно дать знать Панову», — решила она, но почему-то, при воспоминании о Панове, нервно и сильно вздрогнула.

Почему?

Внушал ли ей Панов какие-нибудь чувства, или, наоборот, она угадывала в нем то, что внушала ему собой? Ничего положительного ответить себе на этот вопрос она не могла и, тем не менее, одно сочетание этих слогов: «Панов» ей было почему то неприятно.

Но надо было действовать.

Она была совершенно одна.

С Софьей Николаевной, видимо, приключилось тоже что-то неладное и она стала неузнаваемой.

Спокойствие ее куда-то исчезло, как рукой сняло, она все время плакала и проявляла даже некоторую ненормальность в своих поступках.

По всему было видно, что переутомилась и она и, сама нуждаясь в помощи, никакой помощи другому оказать не могла.

Ольга Модестовна махнула на нее рукой, оставила ее дежурить у полуоткрытых дверей кабинета, а сама пошла в переднюю к телефонному аппарату.

II

— Нет, доктор, я, к сожалению, не преувеличиваю. Положение отчаянное. Я не ожидала найти его в таком состоянии. Что?

Панов, сидевший в кресле у своего письменного стола, правой рукой перелистывал свой блокнот, а левой держал телефонную трубку у уха, улыбнулся и мысленно представил себе говорившую с ним Ольгу Модестовну.

«По голосу судя, — думал он, — она пополнела, но это ей очень идет».

— Я сказал, — бросил он в трубку серьезным и несколько строгим голосом, — что прежде всего виню себя за то, что не удосужился за все это время побывать у профессора. Однако, у меня есть оправдание: во-первых, я не хотел своим присутствием напоминать ему о клинике и больных... полагая, что он действительно отдыхает. Вы понимаете, профессор, увидав меня, неминуемо начал бы расспросы о больных... ну-с, а во-вторых, я полагал, что присутствие Софьи Николаевны достаточная гарантия для спокойствия... Почему, — меняя тон на более строгий, закончил он, — это так случилось, что сестра своим молчанием ввела меня в заблуждение?

— Ах, доктор, мне кажется, с нею тоже что-то неладное приключилось. Она с ума сошла. Всегда такая выдержанная и спокойная, она не может остановить беспричинных слез и нервничает, будто потеряла себя.

— Это какое-то поветрие, уверяю вас, — буркнул недовольно Панов. — Вот на что моя Мульфа спокойным и ласковым псом была, а теперь я прямо не узнаю ее. По целым дням она воеет, задрав морду кверху, или лежит свернувшись в клубочек, дрожа, как в лихорадке. А вчера она укусила меня за руку, которой я хотел погладить ее. Я даже ветеринарного врача приглашал, ей-богу. Он нашел у нее чуму и прописал ей серу. Однако сера не помогает...

— Что серый? — не расслышала Ольга Модестовна.

— Сера не помогает, — сказал Панов громче, приклады-

вая рупором свою руку к телефонной трубке.

— А... Так когда же прикажете вас ждать, доктор?

— Что за вопрос, Ольга Модестовна! — Панов достал из кармана часы. — Сейчас уже одиннадцать часов. Если вы не собираетесь ложиться — я к двенадцати могу быть у вас.

— Хорошо. Я буду вас ждать с самоваром.

— Благодарю. А если Николай Иванович заснет — не будите его...

— Хорошо, — сказала Ольга Модестовна и ей почему-то послышалась в голосе Панова особая сила интонации.

— Мои нервы тоже никуда не годятся, — кончая разговор, сказала она. — Однако прощайте, вернее, до скорого свидания.

— До свидания.

Панов выждал, чтобы повесили трубку и только тогда осторожно повесил свою.

В последних словах Ольги Модестовны ему тоже послышалась какая-то скрытая сила, но он не придавал этому никакого значения.

— «Не хватает, чтобы я спятил вместе с ними», — подумал он, позвонил и велел закладывать коляску.

Профессор Звездочетов спал недолго. Увидев Софью Николаевну у своих дверей, он глазами подозвал ее к себе и спросил:

— Где жена?

— Ушла.

— Я это вижу. Куда?

— Она говорит по телефону.

— С кем?

— Не знаю.

— С кем? — громче и строже спросил профессор.

Софья Николаевна опустила глаза.

— С доктором Пановым, — сказала она, теряя свою волю.

- По какому поводу?
- Не... она приглашает его осмотреть вас.
- А!...

Профессор опять глазами показал на письменный стол и сказал:

- Под бюваром, справа, синяя тетрадь. Дайте мне ее.
- Софья Николаевна повиновалась.
- Спасибо. В граненом стаканчике карандаши...

Софья Николаевна догадалась и, достав карандаш, пода-
ла его профессору.

- Спасибо.

Профессор взял карандаш в руки и открыл тетрадь.

— А теперь, — сказал он, кончая писать, — потрудитесь
взглянуть на листочек, лежащий возле весов, и сказать пос-
леднюю на нем написанную цифру.

Софья Николаевна нашла листок, посмотрела и сказала:

- Тут не цифра. Тут что-то написано буквами.
- Прочтите.
- Два пуда девятнадцать фунтов.

— Ага! Это то, что мне надо. Сердечно благодарен.

Профессор вписал эту цифру в тетрадь и протянул ее
вместе с карандашом Софье Николаевне.

— Теперь положите карандаш обратно. В стаканчик.
Так. А тетрадь вынесите в гостиную и суньте ее под ковер у
самых моих дверей. Проститесь с Ольгой Модестовной и
уходите к себе домой. Больше не возвращайтесь — по край-
ней мере теперь. Ваша миссия выполнена. Жертва прине-
сена. С вами все кончено. Награду за вашу жертву вы полу-
чите у себя дома, в четырехмерном пространстве, от Анабия...
— криво улыбнулся Звездочетов. — Идите.

- Я сейчас уйду...

— Еще одну минуту! С сегодняшнего дня я снова воз-
вращаюсь к прозе жизни. На время, конечно. Я должен не-
много подумать о своих оболочках. Они что-то уже очень
тонки у меня стали! Если я это не сделаю, люди помешают
мне в моей дальнейшей работе. Жизнь проходит мимо них
и они никогда не поймут человека, который постарался за-
глянуть ей в глаза.

Для того, чтобы они поверили моим опытам, мало опубликования результатов их... Необходимо, чтобы эти результаты опубликовались по меньшей мере четырехпудовой тушей. Вещичка в два пуда с четвертью для них слишком легка. Я должен реабилитировать себя в их глазах, в глазах этих паркетных скользунов. Иначе и это пройдет мимо них. Если Панов будет вас расспрашивать о чем-нибудь — вы ничего не знаете. Аппарат вы не видали. Мульфу вы не трогали... поняли?

— Я поняла.

— Прощайте!

Профессор повернулся к ней спиной и погрузил свои глаза в стену.

Софья Николаевна сдержала спазматические судороги, которые готовы были своими железными пальцами сдавить ей горло, и вышла из кабинета.

Когда звук ее шагов навсегда замер в сознании профессора, он встал, с трудом переставляя ноги, дотащился до дверей и снова запер их.

Потом, вернувшись на свое место, растянулся на диване.

— Прежде всего, пройдем к нему, — сказал доктор Панов Ольге Модестовне, снимая в передней свое пальто и отдавая его на руки горничной.

— Пойдем!

— Софья Николаевна здесь?

— Нет. Она только что ушла. Профессор отпустил ее, сказав, что раз я дома, то он не смеет больше злоупотреблять ее временем.

— Пойдемте же!

Ольга Модестовна впереди, Панов несколько сзади прошли гостиную и подошли к дверям кабинета. Панов мягко положил свою ладонь на ручку двери, забрал ее в кулак, но перед тем, как нажать на нее, три раза согнутым указатель-

ным пальцем другой руки стукнул в дверь.

— Аминь, — раздался из-за дверей насмешливый голос Звездочетова, напрягшего все свои силы, чтобы голос этот звучал полнее, убедительнее и нормальнее.

— Аминь, но дверь, коллега, заперта. Однако, вы не откажете открыть ее?...

— Однако и увы, я принужден вам отказать в этом.

— Профессор, это странно...

— Больше того — это дико. Но это мое решение.

— И вы не измените ему?

— Я, коллега, не для того выбираю то или иное решение, чтобы сейчас же и изменять ему. Но вы не обижайтесь. В вашем голосе я уловил обиду. Я просто-напросто так внешне плох и худ, что позволяю себе не скрывать этого только из-за дверей.

— Но я то и пришел для того, чтобы полечить вас....

— Весьма признателен, но сознайтесь, дорогой друг, что аксессуар вашего лечения не очень-то разнообразен. Прав же, я им владею в той же степени. *Acidum arsenicosum*, *Ferrum glycerophosphoricum* и — черного мяса ни-ни-ни. Яйца, масло, молоко!

— Странно выслушивать от врача подобные вещи!

— Странного гораздо больше в жизни, мой милый, чем вы предполагаете даже... О странностях говорить не будем. Идите пить чай с Ольгой Модестовной и, если хотите действительно сослужить мне услугу, то, прошу вас, уверьте вы бедную женщину, что ни бубонной чумой, ни проказой я не болен и холодное дно могилы так же далеко от моей ноги, как от головы моей горячий полог неба. Простое переутомление, которое уже проходит, а вскоре и совсем пройдет, — несколько иронически закончил Звездочетов, но Павов этой иронии в его голосе не уловил.

— Хорошо. Но вы мне даете слово действительно начать поправляться и ничем научным не заниматься?

— Ого! Ультимативные угрозы? Как скоро вы готовы укусить локоть той неосторожной руки, что доверчиво положила вам палец в рот! Впрочем, успокойтесь! Если пичканье себя мышьяком и железом вы не сочтете за научные

занятия, то даю вам слово таковыми не заниматься.

— Тогда на сегодня я отойду от ваших дверей, не пытаюсь их взломать. Однако, не могу не сказать, что не ожидал быть не удостоенным чести переступить порог вашего кабинета.

— Опять обида! Одно из двух: если я здоров — вам нечего делать у меня как врачу, если я болен, — на больных не обижаются. Однако, желая изгладить из вашей памяти всякое неприятное воспоминание о себе, я напоследок приготовил вам сюрприз: отверните ковер у моих дверей. Под ковром лежит тетрадь. Это рукопись. Результаты моих последних открытий. Прочтите, а главное, разберитесь в ней. Когда окончите, можете вновь явиться ко мне и даю вам слово, что будете впущены. А так как чтение предлагаемой тетради займет у вас день, вникание в нее другой, то льщу себя надеждой, памятуя, что сегодня воскресенье, видеть вас у себя во вторник вечером. А теперь good bye и не мешайте мне спать.

Панов передернул плечами, с недоверчивым видом отвернул край ковра и извлек оттуда тоненькую синюю тетрадь.

— Странно все это, однако, — шепотом сказал он Ольге Модестовне, вместе с нею отходя от запертых дверей кабинета и, пряча па ходу в боковой карман своего сюртука тетрадь, проследовал за нею в столовую.

— Ну, а по голосу вы ничего не можете сказать? — таким же шепотом спросила Ольга Модестовна.

— Голос, как голос! Ничего особенного. Голос Звездочетова. Голос вполне здорового, крепкого и нормального человека. Я постараюсь прочесть за ночь рукопись профессора. Днем я буду разбираться в ней. Таким образом, я ускоряю срок, назначенный мне профессором для второго визита. Завтра вечером, я думаю, что буду у вас....

— Вам два куска сахара или один? — спросила Ольга Модестовна, положив уже один кусок в стакан, а другой, ухватив серебряными щипчиками, держа в воздухе.

— И послаще, и покрепче, если можно.

Из самовара, как из душного плена, вырывался пар — его скрытая сила — и таял в воздухе, обращаясь в ничто.

Двое людей пили чай и говорили о пустяках.

А страшная жизнь, вырываясь из космического плена, текла своим неизменным чередом, где-то рядом, сбоку, никого не касаясь, не затрагивая и обращаясь в ничто.

Мимо... Мимо... Мимо...

III

Доктор Панов велел подать себе бутылку крепкого вина, удобно расположился в своем кабинете за письменным столом, придвинул поближе лампу, изображавшую художественно сделанную из дорогого сибирского камня нагую женщину, подарок благодарных пациентов, и открыл тетрадь.

Нагая женщина, высоко подняв над головою точеные руки, в мучительной истоме несла хрупкий сосуд, в который была ввинчена электрическая лампочка и из которого, как нектар, лился на всю ее, как бы ожившую от этого, ослепительную наготу, поток телесного света, который заканчивался на исписанных страницах открытой тетради.

Многое было Панову неясным и странным в поведении профессора Звездочетова и порою ему начинало казаться, что маститый ученый просто сошел с ума.

Эта тетрадь должна была разрешить его сомнения.

Ольге Модестовне он не открыл своих подозрений, не желая преждевременно запутывать се.

«По отношению к некоторым женщинам откровенность неприменима, — думал он. — Однако, если эта тетрадь подтвердит мои предположения, то тогда я сумею отыскать путь для действия....»

Тогда....

Фиксируя свет, уставившись на него пристально глазами, как зачарованный, долгое время не будучи в состоянии от него — оторваться, он, наконец, скользнул взглядом по обнаженной статуе и ему показалось, что где-то он уже видел подобную наготу, блестящую, розовую, ослепительную и живую наготу молодого женского тела и лицо статуи показалось ему также знакомым.

«А ведь она похожа на Ольгу Модестовну», — внезапно подумал он и по всему его телу прошел приятной волной легкий озноб.

Созерцать хорошо ему знакомую статую Панову скоро надоело и он, вздохнув, придвинул кресло еще ближе к

столу.

— «Женщина становится скучна, когда ее уже дальше нельзя раздеть», — опять мелькнула в голове его посторонняя мысль и опять лицо Ольги Модестовны в сверкающей истоме запрокинулось кверху, как бы сладострастно восхищаясь тем ослепительным блеском вечно-мужского торжества природы, что в хрустальном сосуде несли над ее головой точеные, сильные, полные руки неувядающей никогда женщины.

«Однако, надо призвать свои мысли к порядку... Этак далеко не уедешь».

Панов, решительно встряхнув головой, глотнул большой глоток крепкого вина, закурил папиросу и, уставив свои глаза в первую строчку рукописи, сразу же, уже по прочтении первой фразы, расширил их почти до отказа и от изумления и ужаса втянул свою голову в инстинктивно поднявшиеся кверху плечи.

Опять озноб, но уже неприятный и жуткий, прополз отвратительным пресмыкающимся, скользким, холодным и гадливым, по всему нервно вздрогнувшему телу его.

.

«29-го мая. 8 час. утра. Сегодня первый опыт. Удастся ли? Сегодня я буду собакой. Я должен ею быть».

—————

«29-го мая. Ночь. Спешу занести на страницы этой тетради свои удивительные открытия в связи с удавшимся опытом. Я на пути познания божественной Истины: я был собакой! Увы! Сейчас, когда я уже человек, мне трудно полностью дать отчет о своих переживаниях и правильно ориентироваться в них, в переживаниях, испытанных мною во

время моего пребывания в теле животного и передать точно психологическую оценку свойств мира с точки зрения собаки, так как я уже опять человек, со всем багажом человеческого аксессуара мысли. Ах, если бы я мог вести свои записки в те полчаса, в которые мое волевое сознание стало на место волевого сознания Мульфы!

Однако, попытаюсь описать свои воспоминания хотя бы в том виде, в каком мне позволит вновь функционирующее начало профессора Звездочетова.

Прежде всего, замечу, что в ту минуту, когда я проник своей “душой” в опустевшее тело Мульфы, я в достаточной степени полно и страшно почувствовал абсолютное прекращение своих духовных движений и ощущения себя.

Мое “я” для меня перестало существовать как мое “я” и мое новое “я” уже не знало, кем было мое “я” прежнее.

Я не был собой. Я был никем. Абстракт Ничто.

Но как только это “ничто” проникло в тело животного (это произошло, очевидно, именно в то мгновение), я вновь ощутил свое реальное существование, но уже не как существование Звездочетова, а как какое-то совершенно иное существование. И.... О боже, как это было отлично от моего профессорского существования.

Впрочем, эту разницу я могу провести только сейчас, ибо тогда я существовал конкретно лишь как Мульфа, абсолютно не зная и не догадываясь даже не только о возможности существования “я” какого-то Звездочетова, но даже и о нем самом.

Что такое “Звездочетов” — я не мог знать. Звездочетова уже никакого абсолютно не было.

Я был Мульфой и я больше ничего не знал.

Я испытывал всевозможные ощущения, связывая которые в логическую связь, я образовывал представления, но дальше представлений мое сознание не шло.

Связать и создать из представлений понятия было мне совершенно не по силам.

При оценке всех явлений, представлявшихся мне, я каждый раз начинал сначала и все время вертелся лишь в

области ощущения этих представлений, но не понятия о них.

Конечно, это только сейчас мне стало ясным и понятным, тогда же я полагал, что так и должно быть и что мой мир ощущений, в котором я находился, — это максимум достижения, в смысле восприятия его, и что этот мир вполне реален и полон для того, чтобы быть источником моего конкретного существования, и иным быть не может.

Все, что было бы иным, было бы ирреальностью. И если я воскликну сейчас: «О, как я страдал, не умея создать понятия», то только потому, что в настоящую минуту я человек, могущий сопоставить эти два существования, и мне, с моей человеческой точки зрения, теперь кажется ужасной эта собачья жизнь.

Однако тогда я был Мульфой; то, что воспринимал, воспринималось мною, как единственно возможное и реальное и, следовательно ни для каких страданий не было места.

Но я искал истину....ах! Это искание ее, кажется, свойственно всем ступеням зоологической лестницы.

Однако, мои искания истины, как я сейчас понимаю, были крайне примитивны, ибо истину я видел в том, что нами, людьми, называется... высотой, т. е. третьим измерением.

Да. Я находился в мире двухмерного измерения и воспринимал его, как плотность, со всеми вытекающими отсюда свойствами его.

Но эти свойства я принимал не за свойства своего восприятия, а за реальные свойства самого Мира.

Тела, как таковые, я только ощущал. Реально я осязал одни только поверхности. Мыслить о теле я мог только как о его разрезе, сразу со всех сторон не будучи в состоянии охватить его своим зрительным аппаратом.

Не обладая понятием, я не мог корректировать ошибки своего зрения и ощущений, а потому считал за истинное все то, что видел.

Солнце двигалось. Я это *видел*, а посему считал это за истинное движение и свойство этого тела. Тела, к которым

я шел навстречу, — двигались тоже. Я принимал это движение за истинное. Мир, в котором я жил, был миром чудовищных искажений. На огромной плоскости мира покоились и двигались разрезы трехмерных тел. Некоторые тела представляли собою горизонтальные, другие вертикальные разрезы. Это происходило благодаря тому, что измерить тело сразу по трем направлениям я не мог. Всякое тело я измерял лишь по двум направлениям. Когда я принимался измерять его по третьему направлению, два первых сливались в одно и в результате всегда получалось лишь два. В зависимости от того, какие направления сливались в одно — получались разрезы тел, то лежащих плоско, то вертикально стоящих на плоскости Мира.

Способность запоминания представлений, в результате которых является понятие, у меня отсутствовала, — отсюда получалось то, что при подходе к третьему измерению, два предыдущих неминуемо должны были слиться в одно-единственное.

Я умел только накапливать в себе лишь ощущения (я ощущал, что тело плоско, и шел через него, не перепрыгивая, я ощущал, что тело, хотя и плоско, но стоит вертикально, и перепрыгивал через него), в результате чего являлась высшая способность моего мыслительного аппарата — индивидуальное представление о свойствах тела.

Того, чего я не видел, того не существовало.

Как это ужасно. Оно не существовало для Мульфы, но, увы, оно все же реально существовало в Море.

Тела были трехмерны, они не двигались, земля была круглой.

Попади Мульфа в такой мир, она бы сказала, что это мир ирреальный — она просто сошла бы с ума, убедившись в той иллюзорности, в которой прожила всю свою жизнь, считая ее реальной и увидев, что все ценности Мира недооценены ею.

Да, Мульфа! Именно реальным оказалось бы как раз то, чего ты не видала, чего ты не знала, другой, параллельно тебе существующий мир, мир иных возможностей, впечатлений и большего числа измерений.

Однако, не хвастаю ли я в настоящую минуту перед Мультфой?.. Умеем ли мы сливать в своем сознании понятия в высшую ступень психологической осязаемости?

Не сливаются ли и у нас, при попытках попятить четвертое измерение, понятие о трех предыдущих в два, в результате чего всегда получается трехмерность?

Но возвращаюсь к Мультфе.

Времени я глазами не видел. Следовательно, его и не было. Но зато, зато было движение, и оно было ужасно.

Двигалось буквально все.

Стоило мне лишь поднять голову, или повернуть ее набок, или, что было еще хуже, шагнуть вперед, одним словом, перевести глаза с одной точки отсчета на другую, как все, решительно все рвалось ко мне навстречу, заходило с боков, подымалось снизу и рушилось на голову.

И движение это было реально, оно было свойством всех тел.

Когда я обходил угол какого-нибудь предмета, он поворачивался ко мне другой своей стороной. Он поворачивался. Он, проклятый, а не я. Понятно, что я иногда не выдерживал этого и громко лаял на него. Но, как бы в ответ, он начинал меня злить еще сильнее. Он колебался и раскачивался во все стороны, как студень, дрожал, прыгал, искажался. Ах! Это происходило только благодаря тому, что я, при лае, двигал головой.

Господи, какой жуткий обман!

Впрочем, зачем я волнуюсь... разве с нами, людьми, не происходит того же самого?

Мультфа не видела истинного протяжения тела. Она запоминала лишь индивидуальные свойства его, а разве мы знаем истинное протяжение времени — этого, не могущего быть пойманным за хвост, четвертого измерения?

Мы тоже запоминаем лишь индивидуальные свойства его.

Мы говорим про человека, например — его *не было*. Он *стал*, т. е. родился. Его опять больше нет, т. е. он умер. Но ведь это только запоминание индивидуальных свойств предмета, в данном примере человека, а не его истинного про-

тяжения. Мы думаем, как Мульфа: того, чего мы не видим, того — значит, и нет.

Однако, я опять увлекся.

Будучи Мульфой, я тоже смутно ощущал время, но время было для меня... третьим измерением.

Это понятно. Временем может быть лишь то, что проходяще. Третье измерение для меня всегда двигалось. Плоскость, когда я обходил угол, поворачивалась *новой*, до сих пор не существовавшей стороной. Эта же плоскость уходила в *прошлое* при дальнейшем моем движении (что равносильно сознательной попытке измерить ее по другому направлению) вокруг нее. Но я не мог знать, конечно, что из чего вытекает: время, или вернее даже, индивидуальные свойства его, каковые я только и ощущал, и то смутно — из движения, или движение являлось результатом наблюдения самого времени.

Перемена в состоянии предмета относилась мною ни за счет времени, ни движения, а за счет реальных свойств самого предмета.

О....о! Только сейчас, вновь став человеком, я ощущаю весь ужас и всю нелепость такого существования.

Углов во времени не существовало.

Каждое явление природы наступало для меня как новая величина.

Каждый день должно было всходить новое Солнце, новая Луна, новые Звезды.

Но увь! И тут я должен сознаться, что мы, люди, недалеко ушли еще от такого представления о свойствах Мира.

Разве нам понятно цикловое движение пространственного протяжения?

Разве мы не говорим: новая весна, или новая осень?

А ведь осень-то одна! И одна весна! И весна и осень существуют одновременно!

Мне страшно. Господи, мне страшно!

Жить в мираже... гоняться за Истиной, как за своею тенью... Я не могу... я не могу!..

Мульфу спасал только инстинкт. Целесообразность действия без участия сознания.

Что спасет нас? Неужели тоже инстинкт? Но ведь инстинктом хвастать не приходится! Это самая низкая ступень интеллектуального развития. Это положительный или отрицательный таксис протоплазмы. У сверхчеловека инстинкта не будет. Целесообразность его действий явится уже результатом его психологической силы и знания. Инстинкт ему будет не нужен. Он необходим только животным.

Неужели и нам?
.

Доктор Панов, подымая голову кверху, с трудом проглотил почти отсутствовавшую в высохшем и воспаленном рту слюну, — залпом выпил стакан вина и с тяжелым стоном поставил его обратно на поднос.

Глаза горели и в них щипало, но надо было окончить рукопись. Надо было прочесть.

Иначе он сам сойдет с ума.
.

«30-го мая. Рано утром.

Сегодня приедет жена. Надо закончить первую часть опытов. На очереди Софья Николаевна. Она человек. Но так ли она воспринимает свойства мира, как воспринимаю их я? Реален ли я для нее? Воспринимает ли она меня? Существую ли я?

Есть ли что вне меня, или все, что вне меня, только во мне самом?

О, страшная тайна!

О, невозможность познать другого, не пропуская его сквозь призму своего сознания!

О, несбыточность познания чего бы то ни было для себя, не в себе, а вне себя!

Момент близок. Тайна перестает быть тайной.

Возможностью станет невозможность. Несбыточность обратится в осуществимость. Я слышу ее шаги. Она идет. Она вошла. Я — готов.

Того же дня. Днем.

Вот — и это прошло. Вот и это уже не тайна. И это вот уже мною осознано! Мы живем только для самих себя!

Как это... просто глупо. Все люди отличны друг от друга. Они реально существуют. Но...

Ах... Софья Николаевна оказалась вовсе не Софьей Николаевной!

Она оказалась профессором высшей математики в главном Университете Юпитера по определению квадратуры круга механического цикла психологического значения и деятельности человека.

Я тороплюсь. Скоро приедет жена. Я должен хоть в двух, трех словах описать свои впечатления и воспоминания этого второго перевоплощения.

Как только я вошел своим сознанием в Софью Николаевну, вновь совершенно потеряв ощущение себя, я испытал нечто странное и страшное как благодаря той окружившей меня обстановке, так и благодаря тем новым чувствам, которые нахлынули на меня.

Однако, мне кажется, что “странность” и “страх” я скорее испытываю сейчас (аналогично первому опыту), когда я снова профессор Звездочетов, когда я могу сопоставлять и сравнивать, тогда же мое новое существование должно было мне казаться вполне естественным и простым. Я сидел за каким-то удивительным и незнакомым моему теперешнему пониманию аппаратом крайне сложной конструкции и устройства и был занят производством каких-то сложных вычислений.

Я, т. е., вернее, не я, а Софья Николаевна, окончив работу, встала и пристально взглянула на то, что стояло рядом с нею.

А рядом с нею стояло то, та форма материальной оболочки, что мною сейчас осознается как материальная форма профессора Звездочетова, а тогда конкретизировалась другим странным именем “Анабий”. Очевидно, профессор Звездочетов был для Софьи Николаевны неким Анабием, который довольно-таки жалкими глазами смотрел на поднявшуюся с места ту, что моим теперешним восприятием познается, как Софья Николаевна, а тогда была тем странным существом, в которое я (профессор Звездочетов) переселился.

— Всякая траектория относится к определенному месту отсчета, следовательно, сама по себе существовать не может, и всякое движение может происходить лишь во времени, — сказал я Анабию.

— Но, — неубедительно возразил Анабий, — в таком случае одновременность движения не может иметь места.

Я улыбнулся.

— Относительность одновременности? Вы не уясняете себе относительной постоянности пространственных расстояний, просто-напросто, мой друг! Совпадаемость событий относительна. Это доказано еще Эйнштейном. Отсюда события, не совпадающие в вашем сознании, могут легко совпасть в моем.

Одновременное событие может быть наблюдаемо вами раньше, мною позже. Это вытекает из свойств нашего мира, временно пространственной непрерывности.

Все дело лишь в точке отсчета, каковой является психологическая организация индивидуума.

Видимые нами тела только разрезы своих истинно реальных четырехмерных конфигураций.

Наш мир, как таковой, тоже всего-навсего трехмерный разрез своей четырехмерной непрерывности.

События измеримы, как и тела.

Этот аппарат, над которым я работал, и является счетчиком событий, измеряющим их чисто математически.

Тройная система координат, плюс время.

Их суммирование и есть измерение событий.

В пространственной непрерывности каждое событие имеет себе параллельное, отличное от него событие.

Время есть пространственная координата и ничего больше.

Все дело в точке отсчета только.

А вы... вы всегда — Вы!

Взгляните сюда, Анабий, в это отверстие моего аппарата, и вы познаете тайны.

Анабий повиновался.

Он подошел к аппарату и взглянул в указанное отверстие. Я не знаю, что увидал он в нем. Только, с трудом оторвавшись от, видимо, очаровавшей его картины, он повернулся ко мне и, широко открыв просветленные глаза, простирая ко мне руки, упал на колени и, зарывая свое лицо в складки моей юбки, задыхаясь и трясаясь всем телом, прошептал:

— О... о! Я познал значение смысла: оно в любви! И я... я люблю, я люблю, я люблю тебя!

И в ответ на это признание я ласково посмотрел на Анабия и с грустью и болью в голосе, — сказал:

— Ты любишь только самого себя!
.

«Дальше я писать не могу... Я чувствую невероятную физическую слабость, увы — уже слабость профессора Звездочетова, доводящую меня до головокружения и тошноты. Я кладу перо. В голове гудит глухо и прибойно океан разлившейся мысли. Боже, до чего я слаб!

—————

Эта приписка для вас, милейший Панов.

Клянусь вам всем на свете, я с ума не сошел.

Я психически вполне здоров.

На днях вы будете у меня и убедитесь в этом сами.

Сейчас это невозможно: мне нужен покой, сон, отдых. Мне внушает лишь некоторое беспокойство мое тело. Оно куда-то исчезло за эти дни.

Я потерял его.

Пять педель тому назад я весил четыре пуда.

Сейчас... пожалуй, вы подумаете, что я смеюсь над вами, всего-навсего — два пуда и девять фунтов!

Нет, — клянусь вам, — я не лгу!

Такой вес, как оказывается, вполне хорошо переносится даже. Только слабость угнетает. Йог Дритиаштра весил один пуд и тридцать один фунт, вы видите — справедливость заставляет меня отдать ему пальму первенства!

Ах, милый Панов, — если бы вы захотели поверить! Клянусь вам, клянусь всем, чем только человек поклясться может, — я ничего не написал такого, чего не было.

Я все это пережил. Я все это испытал.

И я вам вскоре сумею доказать это»

Панов резко откинулся на спинку кресла и, роняя на пол вдребезги разбившийся стакан, схватил себя за голову обеими руками, скорее застонав, чем прошептав.

— Несчастный! Но ведь это же самая настоящая, клинически ясно выраженная форма маниакального умопомешательства!

— *Mania sceptica! Mania sceptica!*

— И притом — самая простейшая и шаблонная форма!

IV

Звездочетов прекрасно выспался.

Он встал с дивана, на котором лежал, потянулся и почувствовал в себе начинавшие прибывать в его организм свежие силы.

«Отлично, — подумал он. — Никаких поводов для господ Пановых не должно иметь места... С сегодняшнего дня я начну, постепенно, снова возвращаться к нормальной человеческой жизни. Еще не все выяснено... Для того, чтобы достичь намеченной цели, я должен вновь появиться в обществе».

Рука профессора почти не дрожала, когда он отсчитывал из пузырька, содержавшего мышьяк, в граненый стаканчик шесть полновесных капель лекарства.

Приняв мышьяк, он выпил с вечера еще полученный стакан молока и закусил бутербродом со свежей икрой.

Затем он открыл свой хирургический шкафчик, достал шприц, наполнил его вытяжкой из семенных желез барана, целебным восстановителем силы и здоровья, им самим некогда изобретенным, спустил штаны, покачал слегка головою, обнаруживая вместо бедра одну только кожей обтянутую кость, промыл небольшой участок этой кожи эфиром и, захватив пальцами левой руки складку ее, глубоко воткнул в свое тело острую иглу шприца, быстро спустив поршень инструмента.

Подойдя к умывальнику, он хорошо вымылся, вычистил зубы и внезапно принял решение сделать приятный сюрприз жене: боковым коридором пройти к двери ее спальни и внезапно появиться в ней.

С утренним визитом.

Профессор открыл дверь и, радуясь, что походка его стала увереннее и сильнее, направился к цели.

Подойдя к дверям спальни, он, не стуча, осторожно открыл дверь и просунул свою голову в образовавшуюся щелочку.

Спальня Ольги Модестовны была пуста.

Постель носила еще отпечаток только что вставшего с нее тела и кружевная сорочка Ольги Модестовны, испускающая легкий аромат каких-то одновременно и пряных и нежных духов, смешанных с запахом молодого здорового женского тела, воздушным горбом лежала на мягком ковре, протянутом вдоль кровати.

«Должно быть, только что вышла в другую дверь и мы с нею разошлись», — подумал Звездочетов, но решил подождать жену в ее спальне.

Он нагнулся, поднял с пола сорочку Ольги Модестовны и, дотронувшись до нее, испытал давно не посещавшее его чувство желания женщины, ее физической близости. В воображении мелькнул образ нагой Ольги Модестовны и Звездочетов сдвинул брови от нахлынувшего другого чувства, которое так часто испытывал по отношению к жене именно тогда, когда желал ее: не то бешеной, ни на чем не основанной ревности, не то брезгливой ненависти.

Он сел на кресло, стоявшее у изголовья кровати, взял с ночного столика повернутый вверх ногами и открытый на читаемом месте французский роман в шаблонно-традиционной желтой обложке и прочел первую фразу:

«La femme préfère toujours l'amant de son mari...»

Фраза была специфически французской и глупой, но Звездочетов вскоре с удивлением заметил, что прочел, начиная с нее, не без некоторого удовольствия несколько страниц.

Наконец ему наскучило ждать, он положил книгу обратно на столик той же страницей, на которой она лежала раньше, и решил пойти на поиски жены.

В столовой ее не было.

Он заглянул в кухню, но там не было не только ее, но даже прислуга отсутствовала.

Выходная дверь была на замке, а ключа не было в замочной скважине.

«Очевидно, Маша пошла на рынок, заперев за собою дверь с наружной стороны на ключ», — подумал профессор и, несколько обеспокоенный, решил вернуться к себе в кабинет.

Уже войдя в гостиную, ему стало ясно, что Ольга Модестовна у него в кабинете.

«Но что она делает там так долго?»

Дверь, которую профессор имел всегда обыкновение притворять за собою, была широко открыта, но Ольги Модестовны не было в нее видно.

Ускорив шаги, он подошел к дверям своей комнаты и заглянул внутрь.

Кровь застыла у него в сердце и ему показалось, что оно остановилось.

Направо, на полу, против письменного стола, лежала его жена, Ольга Модестовна, без всякого движения и признаков жизни.

Тогда, метнув свой взгляд в сторону изобретенного им аппарата, — он понял все.

— О, глупая женщина!

Конечно, это было так: они разошлись по дороге. Она вошла к нему в ту минуту, когда он входил к ней. Обладая естественным и законным любопытством женщины, она захотела проверить, чем это он занимался все эти пять недель взаперти.

Странный ящик аппарата привлек ее внимание. Она заглянула в окуляры, думая, очевидно, увидеть в них какую-нибудь картинку или чье-нибудь изображение.

Но в аппарате была темнота.

Тогда, осмотрев его поверхность и обнаружив по бокам его штепселя, решила, что поворотом их осветит внутренность ящика.

Правая рука всегда реальнее чувствуется человеком и понятно, что она решила повернуть сперва правый именно штепсель.

Повернула... и — обездушенное тело ее рухнуло на пол, наказанное за свое любопытство и оставляя в конденсаторе аппарата поглощенную «душу».

Профессор вполне ясно и реально, мгновенным вихрем соображений, представил себе всю эту трагикомическую картину.

«Но что же делать теперь? Т.-е. как это что? — улыбнулся сам себе профессор. — Поднести аппарат к глазам наказанной и, — поворотом левого штепселя вернуть ей обратно ее похищенную “душу”!»

Профессор взял аппарат в руки и наклонился с ним над лежащей.

Но штепселя он не повернул.

Внезапно он поставил аппарат обратно на письменный стол и, неизвестно к кому обращаясь, воскликнул:

— Истина, тебя призываю в свидетели! Я не хотел этого, я даже и не думал об этом! Но теперь... глупо упускать такой случай из рук.

Почему-то несколько фраз специфически французского и глупого романа мелькнуло в его голове, и он искривил свои немного злые тонкие губы в саркастическую усмешку.

— Я проникну своим сознанием в ваше тело, Ольга Модестовна, — тихо сказал он. — Не сердитесь на меня. Вы сами попались на удочку! Ведь вы же моя жена, но увы... я совершенно, если хорошенько вдуматься в это, совершенно вас не знаю. Кто вы? Что вы? Зачем? Я должен же знать, наконец! На одну минуточку только... Лишь вспышкой вашего сознания окружающего мира я позволю себе ослепить себя.

На одну только секундочку. Не сердитесь!..

Профессор энергично отогнал, не давая ей оформить-ся, мелькнувшую было мысль, что он собирается совершить какую-то нескромность, будто чужое письмо прочесть, и резким движением опустил перед Ольгой Модестовной на колени и... и... нажимая себя в живот и творя что-то страшное над лежащей, он проник своим сознанием в сознание спящей, приказывая сознанию своему ровно через тридцать секунд вернуться обратно

.

Потеряв себя, профессор мгновенно почувствовал себя Ольгой Модестовной и вместе с этим ощутил какое-то уди-

вительно приятное, острое и сладострастное чувство. Через секунду он, в лице своей жены, открыл истомно закрытые глаза и увидел над собою тупое, обезображенное животной страстью лицо доктора Панова, который обнимал ее голое пышное тело одной рукой, а другой бессмысленно, в сладострастной судороге, мял и комкал упруго очерченную грудь Ольги Модестовны.

Его жена была в объятиях Панова
.

Профессор больше ничего не видел. Полминуты прошло и его сознание вернулось к нему обратно. Однако, виденного было достаточно.

«Человечество? Оздоровление его? Дарование ему свободы и счастья?»

Эти мысли только на мгновение ослепили мозг Звездочетова.

Его маленькое, личное, мещанское вдруг выросло в его сознании до величины мирового масштаба и заслонило собою все мечты его о служении человечеству.

Великий Мещанин проснулся в нем. О человечестве и его счастье он больше не думал.

Он думал только о себе, неспособный ни на героизм, ни на жертвы, ни на прощение.

С гримасой боли и отвращения, колеблясь лишь одну секунду, он поднял свой разом окрепший кулак над изобретенным аппаратом.

В нем была «душа» его жены...

Уничтожить все! Никогда к этому не возвращаться больше. Это преступление? — Пусть. — Он уничтожит его. Скорее, скорее, чтобы никто не знал, никто....

С грохотом опустил кулак на страшный аппарат, разбивая его в щепы, а вместе с ним и заключенную в нем, как в жестокой темнице, жалкую «душу» ничтожной женщины.

Ольга Модестовна была мертва.

Пульса, который старался найти наклонившийся над ней Звездочетов — не было. Дыхание отсутствовало. Сердце — остановилось.

Панов все утро пережевывал свои впечатления от прочитанной рукописи.

Для уего, принимавшего жизнь таковою, какова она была им видима — дело обстояло как нельзя более просто и ясно.

На почве переутомления профессор Звездочетов сошел с ума.

Что же он предпримет?

После долгих размышлений он решил, что посоветует Ольге Модестовне отправить больного в специальную лечебницу для нервно-больных ученых и, — если понадобится, — прибегнет к силе, чтобы добиться своего.

Оставлять на свободе такого больного было опасно.

Если же окажется, что болезнь профессора зашла уже слишком далеко вперед и надежда на восстановление его умственных способностей рухнет, то, держа все это до того момента в секрете, — объявить эту прискорбную новость обществу.

И, вдруг, помимо своей воли, Панов представил себе изолированного от всех суев мира профессора, а в его доме оставшуюся одной молодую, сильную здоровьем и желаниями, женщину. — Тогда, Ольга....

Фраза не была окончена. Вошла прислуга и доложила, что коляска готова.

Панов надел шляпу, взял в руки трость и перчатки и вышел.

Солнце клонилось к закату и легкая свежесть приятной волной омывала воздух.

— К профессору Звездочетову, — сказал Панов кучеру и, удобно забившись в угол коляски, с наслаждением стал полною грудью забирать омывающий легкие воздух.

Панов старался возобновить какую-то, прерванную кем-то мысль свою, которая должна была занять его. Но улица не давала ему сосредоточиться....

Спешили куда-то люди, толкали друг друга, злобно оглядывались один на другого, и будучи во всем виноваты сами, обвиняли в чем-то кого-то другого...

Какая-то пружинная сила гнала их с места на место, как стадо разбредшихся баранов, к какой-то, никому из них неизвестной и непонятной цели, заставляя их по дороге обманывать друг друга, друг другу лгать, унижаться, быть вечно смешными и жалкими в поисках вечно ускользающей из рук Истины, и запихивать наскоро, во время коротких остановок, в скверно пахнущие ямы своих ртов вонючую пищу мертвой, органической природы, уничтоженных ими форм ее.

«Базар», — подумал Панов, по на этом слове и остановился.

Он умел только конкретизировать события, не перенося их значения к изображаемым ими вещам. Он видел суету и назвал ее базаром. Но понять, что эта суета была самой жизнью и что, следовательно, самую жизнь он назвал базаром — он не хотел понять. Поднявшись по лестнице на второй этаж, он позвонил у хорошо знакомых дверей квартиры профессора Звездочетова и был вскоре впущен в нее.

Ему открыла горничная Маша с заплаканными глазами и он, полагая причину ее слез в связи с, может быть, резким ухудшением, произошедшим в состоянии здоровья профессора, наскоро кинув шляпу, перчатки и трость на столик в передней, быстро, без доклада, с озабоченным лицом, поспешил к Звездочетову, не проронив ни слова.

В гостиную он принужден был остановиться от изумления.

Двери в кабинете обоими половинками были настежь открыты.

«Тем лучше, — подумал он, — если это не какое-нибудь новое чудачество больного».

Подойдя к дверям, он увидел сидящего на письменном столе профессора, в одной руке державшего носовой платок, а другой закрывшего свои глаза.

Звездочетов не поднял головы на звук шагов входящего Панова.

Панов остановился, откашлялся и осторожно начал:

— Милый учитель и уважаемый коллега. Я прочел вашу рукопись, я вник в нее, и должен вам чистосердечно признаться ...

На него смотрели спокойные, ясные глаза, немного печальные, совершенно нормальные глаза смертельно усталого и измученного человека.

«Нет, он не сумасшедший», — мелькнула мысль в голове Панова и он запнулся.

Глаза стали еще яснее и теперь к их мягкой печали присоединилось еще выражение скрытой иронии.

Звездочетов встал из-за стола, совершенно твердой и прямой походкой подошел к нему и взял его за обе руки.

— Уважаемый доктор и преданный друг. Оставим мою рукопись в стороне, вместе с ее автором. Я просто грубо и глупо пошутил над вами, желая вас позлить, показывая, что вместо работы над изданием учебника был занят этой фантастической ерундой. Простите это мне и забудьте об этом. София Николаевна может поручиться вам за меня, что я все это время, как канцелярская крыса, сидел над технической разработкой материала нашей клиники. Но, впрочем, и ее в сторону. Не в ней дело. Меня, всего несколько часов тому назад, постигло страшное, непоправимое горе, тяжелое и неожиданное несчастье. Сегодня, рано утром, Ольга Модестовна скоростижно скончалась.

«Ольга»?.. Панов подумал, что над ним недостойно измываются, но потом, вспомнив, что имеет дело с больным и, может быть, сумасшедшим, сурово переспросил:

— Скончалась?

— Да. Паралич сердца. *Vitium cordis*. Ах, она всегда страдала им и я так мало обращал на это внимания. До сих пор еще я не пришел в себя! Я потерял себя. Я говорю спокойно, а душа....

— Вы шутите?! — перебил Панов.

— Я не спорю, — нахмутив брови, сказал Звездочетов, — когда человек шутит, — это всегда выходит глупо, но....не

настолько, конечно!

— Вы разрешите мне взглянуть на нее?

— Конечно. Ах, боже мой, боже мой! Пойдем.

Профессор провел через гостиную и столовую все еще сомневающегося Панова и, подведя его к дверям спальни жены, открыл перед ним двери.

В комнате было темно.

Густые синие шторы были спущены с трех огромных зеркальных окон, и высокое трюмо в углу спальни было уже кем-то заботливо занавешено сколотыми французскими булавками простынями.

Чтобы лицо смерти не засмотрелось на свою безобразную красоту.

У постели, на которой лежало тело Ольги Модестовны, стояли двое.

В одной Панов узнал прислугу Машу и только сейчас понял, почему у нее были заплаканные глаза.

Другой был — незнакомым мужчиной.

Одет он был в хороший, но далеко не первой молодости, черный, застегнутый на все пуговицы сюртук и в руках держал распущенную ленту сантиметра.

Панов приблизился.

Маша громко всхлипнула, профессор залюбовался чарующим спокойствием красивого лица умершей, а человек в сюртуке, повивальная бабка Смерти, деликатно отходя в сторону и уступая Панову дорогу, кашлянул в руку и довольно четко отрекомендовался:

— Старший агент городского первого бюро похоронных процессий. Леон Семипузов.

Панова затошнило.

VI

«Ну и что же? — сам себе сказал Звездочетов, медленно поднимаясь с дивана. — Этого вывода следовало ожидать».

Прошло уже больше двух недель, как Ольга Модестовна была похоронена и навсегда ушла из волевого восприятия мозговой деятельности профессора Звездочетова.

Все эти две недели он продолжал принимать мышьяк и вспрыскивать себе под кожу чудодейственный препарат, с какой-то особой тщательностью и любовью нагоняя потерянный вес своего тела.

Он почти поправился и физически окреп, но не было ни одной минуты за все это время, чтобы мысль его прекращала работу все над одним и тем же мучившим его вопросом.

И, видимо, тот вывод, к которому он внешне пришел только сейчас, внутренне уже давно родился и сформировался в нем.

«Да, это так и должно было быть и это логически правильный конец», — еще раз сказал он сам себе и направился в переднюю.

— Маша, — сказал он прислуге. — Сегодня не ждите моего скорого возвращения. Если вам что-нибудь потребуется от меня, попробуйте позвонить.... — он открыл свою записную книжечку и прочел номер телефона, записанный против строчки: Богдан Лазаревич Налимов, — по номеру 482-04. Запишите.

Он вышел на улицу, продолжая думать о причинах, побудивших его выйти из дому:

«Как глупо это все, в конце концов. Вспрыскивать себе вытяжку из семенных желез барана для того только, чтобы продолжать быть обманываемым одними и обманывать других! Неужели же после всего испытанного мною жизнь может иметь для меня еще хотя бы самую микроскопическую ценность? Никакой! Ночью оказалась тайна творения, а тайна тебя самого — еще большим мраком! Ты не ты! Ты

видишь только свою тень, на которую даже и наступить-то как следует не можешь. Неужели жизнь не осмысленна большими ценностями, чем чудо моего существования? Жизнь — сон, который давит. Надо уметь просыпаться от таких снов. Мир, в котором я жил, слишком велик стал для меня и мне стало тесно в нем.

Лишит ли Смерть меня чего-нибудь реального? Или даст новое, или она — ничто?

Я не знаю. Я, профессор Звездочетов, ничего не знаю. Я знаю только одно — “я убил свою жену”.

И я знаю, я чувствую, что я ответствен за это и должен понести наказание.

Это закон Логике, закон самой Природы, не прощающей ни одного выбитого у нее зуба и требующей оплаты зубом за зуб. Против этого нельзя возразить ничего.

И я готов понести наказание. *Это единственный смысл, который остался для меня в моей жизни».*

Мимо профессора шел мальчик. Обыкновенный мальчик. Рядом двигалась пожилая женщина. Тоже ничего особенного. Проезжал извозчик, и мороженник орал во все горло:

— Ка-аму морожена! С вафлям свежим, с вафлям!

Да! — это была Жизнь! И от сознания существоваемости этой жизни профессор втянул голову в плечи и съежился.

— С вафлям свежим и крем-брюлем!

Голос мороженника доносился уже глухо и отдаленно.

«Крем-брюлем, — подумал Звездочетов, — это еще ничего, а вот вишневое мороженное у этих шарлатанов безусловно опасно. Они подкрашивают его фуксином».

Подняв голову кверху, он убедился, по вывешенному над воротами номеру, что достиг намеченной цели.

«Квартира № 4», — вспомнил он, войдя в подъезд, и стал подниматься по широкой лестнице.

Навстречу ему спускалась дама, которая, с удивлением взглянув на него, посторонилась и дала ему пройти.

«Дурища», — ни с того, ни с сего подумал профессор и остановился перед дверью, на которой была прибита боль-

шая медная дощечка с выгравированной надписью на ней: «Богдан Лазаревич Налимов». Губернский прокурор.

Профессор дернул за звонок.

Дверь почти тотчас же и открылась.

— Богдан Лазаревич дома? — спросил профессор.

— Пожалуйста.

Звездочетов вошел. Не снимая пальто, он прошел, держа шляпу в руках, по указанному горничной пути в приемную прокурора.

В приемной было пусто.

Единственная дверь приемной, из которой он сюда вошел, была закрыта и, очевидно, из нее и должен был выйти прокурор.

«Странно, — подумал профессор. — Два месяца тому назад господин Налимов дожидался меня в моей приемной, а вот сейчас я жду его выхода, у него в доме.... Однако камней в печени он у меня не найдет и Виши пить не посоветует», — улыбнулся Звездочетов и спокойно стал просматривать какую-то судебную хронику, лежавшую на столе.

В кресле было очень удобно сидеть и профессор даже подумал, что хорошо было бы, если б Налимов задержался подольше чем-нибудь у себя в кабинете.

«Я пришел к вам, чтобы донести на себя.... так я начну с ним свой разговор, — в сотый раз подумал Звездочетов. Чем шаблоннее начало, тем больше впечатления оно всегда производит, тем легче понимается. В таких случаях шаблона бояться нечего. “Я убил свою жену”, — скажу я вслед за этим, а засим уже, как пойдет....

Потрудитесь записать мои показания и дать распоряжение о моем аресте, или что-нибудь в этом духе».

Профессор был спокоен, но, вспомнив эту свою приготовленную фразу, несколько разволновался и нервно потянулся всем телом, как перед истомно надвигающимся сном!

За дверью послышался сперва кашель, потом шаги.

«Идет», — подумал Звездочетов и отложил хронику в сторону.

Дверь действительно вскоре открылась и на пороге показалась знакомая профессору плотная, коренастая фигура губернского прокурора.

«А ему Виши помог», — подумал Звездочетов, окидывая Налимова взглядом с головы до ног.

Налимов продолжал стоять на пороге, улыбаясь глупой улыбкой очень близорукого человека, не узнавая профессора и держа пенсне в руках, тщательно протирая стекла носовым платком.

Профессор продолжал мучительно о чем-то думать.

— Если вы ко мне, пожалуйста, — перебил мысли профессора Налимов.

Звездочетов вздохнул, встал, слегка пошатнулся и двинулся навстречу прокурору.

.

.

Примечания

Биографические сведения о Михаиле Осиповиче Пергаменте (такова настоящая фамилия писателя-фантаста Михаила Гирели) довольно скудны. Он родился в 1893 г. в Одессе в семье юриста и общественного деятеля О. Я. Пергамента – председателя совета присяжных поверенных Одесского округа, депутата Государственной Думы II и III созывов.

С 1906 г. жил в Санкт-Петербурге, где поселилась семья в связи с избранием О. Я. Пергамента в Думу, учился в Тенишевском училище. В 1912 г. издал под собственной фамилией (совместно с З. Берманом) сборник стихотворений «Пепел».

В двадцатых годах работал лектором по гигиене и охране труда в школах ФЗО железной дороги. В 1926 г. выпустил под собственной фамилией брошюрку «Пионер-санитар». Умер в Ленинграде в 1929 г.

Первый из трех научно-фантастических романов М. О. Пергамента, изданных под псевдонимом «Михаил Гирели» – «Трагедия конца» (1924) – считается общепризнанной неудачей. Два других – «Преступление профессора Звездочетова» (1926) и «Еозоон (Заря жизни)» (1929) – произведения яркие и необычные, сочетающие напряженные сюжеты с философскими и эротическими мотивами, местами «грубым» натурализмом. Заметно в них тяготение автора к распространенным темам фантастики эпохи. В «Эозооне» (переизданном нашим издательством в 2016 г.) это темы вырождения, создания гибридов людей и обезьян, биологического преобразования человека и т. д. В «Преступлении профессора Звездочетова» – «пересадка» сознания; в этом плане роман близко напоминает «Доктора Лерна» М. Ренара, впервые опубликованного в русском переводе в 1912 г.

Главы «Преступления», посвященные опыту с собакой Мульфой, обнаруживают также отчетливое сходство с «Собачьим сердцем» М. Булгакова, написанным в январе-марте 1925 г. В авторском предисловии Гирели указывает, что написал роман в 1924 г. Исследователям предстоит установить, имеем ли мы дело с тем или иным литературным влиянием или случаем совпадения «ходовых» мотивов. Любопытны в романе и отмеченные в свое время Р. Нудельманом «оригинальные попытки чувственного представления двумерного или четырехмерного мира, показывающие не-

сомненную яркость фантастического воображения автора» («Фантастика, рожденная революцией», 1966); впрочем, этот исследователь считает «Преступление» «произведением в общем-то неудачным из-за сильного увлечения автора “пряными страстями”».

Роман «Преступление профессора Звездочетова» публикуется по первоизданию (Л., «Пучина», 1926). В тексте исправлены некоторые устаревшие особенности орфографии и пунктуации и очевидные опечатки.

С. 6. ...*благодаря последним работам нашего академика профессора Лазарева, – сконструировавшего аппарат, регистрирующий мысли человека* – Работы физика, биофизика П. П. Лазарева (1878-1942) привлекали в те годы внимание и других фантастов. Приведем характерный отрывок из «Приключений доктора Скальпеля и фабзавука Николки в мире малых величин» (1924) В. Гончарова:

— Да знаете ли вы, молодой человек, что ваше чтение мыслей — подтверждение слов, изложенных нашим академиком П. П. Лазаревым в «Ионной теории возбуждения»?

<...>

— Так знайте, мой друг, что наш почтеннейший академик, директор биофизического института в Москве, профессор П. П. Лазарев в означенном своем труде на 128-129 страницах, и еще в «Физико-химических основах высшей нервной деятельности» на страницах 46-47...

<...>

Так вот: профессор Лазарев, установивши, что во время психической деятельности в мозгу человека возникают прерывистые химические реакции, сделал предположение, научно-обоснованное, что эти реакции сопровождаются образованием электродвижущей силы в мозгу. А эта последняя, передаваясь на поверхность головы, возбуждает в окружающей среде электромагнитные волны, распространяющиеся со скоростью света... Лучше я приведу вам его собственные слова. Он говорит:

«Так как периодическая электродвижущая сила, возникающая в определенном месте пространства, должна непременно созда-

вать в окружающей воздушной среде электромагнитные волны, то мы должны, следовательно, ожидать, что всякий наш двигательный или чувствующий акт, рождающийся в мозгу, должен передаваться в окружающую среду в виде электромагнитной волны».

И не исключена возможность (я не помню, как это сказано у Лазарева), что химические реакции, протекающие в мозгу одного человека, через посредство электромагнитных волн, возбуждают к деятельности мозг другого человека, порождая в нем те же химические реакции, и, следовательно, те же мысли, те же чувствования...

С. 11. ...миомы, липомы, саркомы – Различные виды доброкачественных и злокачественных опухолей.

С. 12. «*Paralysis progressiva*» «*Dementia paecox*», «*Lues cerebri*» – Прогрессивный паралич, преждевременная деменция, сифилис мозга (лат.).

С. 12. «*Nomina sunt odiosa*» – «Имена ненавистны», «Не будем называть имен» (лат.).

С. 21. «*Я вижу новую землю и новое небо*» – Цитируется Апокалипсис: «И увидел я новое небо и новую землю» (Откр. 21:1).

С. 54. ...дисменорея – Патологический процесс, выражающийся сильными болями при менструации и другими симптомами.

С. 54. *Ulcus duodeni* – Язва двенадцатиперстной кишки (лат.).

С.57. *Aut Caesar, aut nihil* – «Или Цезарь, или ничто» (лат.).

С. 61. Шри Рамакришна Парамагамея сменял Б'хагават Гита для того, чтобы уступить место Патанджали и Суоми Вивеканду – Перечислены индийский гуру и мистик Рамакришна Парамахамса или Шри Рамакришна (1836-1886), индийский религиозно-философский текст «Бхагавадгита» – часть «Махабхараты», древнеиндийский философ и один из основателей йоги Патанджали, индийский философ, главный ученик Рамакришны и распространитель учения йоги в западном мире Свами Вивекананда (1863-1902).

С. 62. ...самаияма... дхарана и дхиана... самадхия – В раджа-йоге дхарана – концентрация ума на объекте или мысли с задержкой дыхания; дхьяна – стадия глубокой медитации и сосредоточения на объекте; самадхи – состояние просветления, слияния с космическим абсолютom; самаяма – в йоге одновременная практика дхараны, дхьяны и самадхи.

С. 66. ...ярмарочный калейдоскоп – Имеется в виду стереоскоп для просмотра «объемных» фотографий.

С. 70. ...что есть истина? ...Пилат – «Что есть истина?» – слова прокуратора Иудеи Понтия Пилата во время допроса Иисуса (Ин. 18:38).

С. 95. *Acidum arsenicosum, Ferrum glycerophosphoricum* – Мышьяковистый ангидрид (белый мышьяк), глицерофосфат железа (лат.).

С. 105. ...таксис – Двигательная реакция организма в ответ на различные раздражения.

С. 111. «*La femme préfère toujours l'amant de son mari...*» – «Женщина всегда предпочитает любовника мужу» (фр.).

С. 118. *Vitium cordis* – Порок сердца (лат.).

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.